ТЕОДОР
ВУЛЬФОВИЧ

# МОЁ НЕСНЯТОЕ КИНО

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Писать рассказы, повести и другие тексты я начинал только тогда, когда меня всерьёз и надолго лишали возможности работать в кинематографе, как говорится — отлучали!..

Каждый раз, на какой-то день после увольнения или отстранения, я усаживался, и… начинал новую работу. Таким образом я создал макет «Полного собрания своих сочинений» или некий сериал кинолент, готовых к показу без экрана, а главное, без цензуры, без липкого начальства, без идейных соучастников, неизменно оставляющих в каждом кадре твоих замыслов свои садистические следы.

- Теодор Вульфович
  - Необходимое пояснение
  - Самое первое…
  - Человек с ромбами
  - Родные акулы
  - Угрюмый кудесник
  - Эксцентрическая комедия
  - Две театральные легенды
  - Шесть легенд о Рубашкине
  - В эпицентре урагана
  - Ваш Григорий Козинцев
  - Разговоры с Юрием Домбровским
  - Острова
    - 
    - Солнцевский расчет
    - Верховый ветер
    - Марсель
  - «Как вдох и выдох…»
    - «… Как земля»
    - «…Как птица»
    - Как хлеб
    - На гробки
  - Топ и Пти
  - Карнавал Теодора Вульфовича

# Теодор Вульфович
# Моё неснятое кино

# Необходимое пояснение (Вместо предисловия)

Писать рассказы, повести и другие тексты я начинал только тогда, когда меня всерьёз и надолго лишали возможности работать в кинематографе, как говорится — отлучали!.. Каждый раз, на какой-то день после увольнения или отстранения, я усаживался, и… начинал новую работу. Таким образом я создал макет «Полного собрания своих сочинений» или некий сериал кинолент, готовых к показу без экрана, а главное, без цензуры, без липкого начальства, без идейных соучастников, неизменно оставляющих в каждом кадре твоих замыслов свои садистические следы. Теперь мне остаётся только заполнять в этом «Собрании сочинений» белые пятна, незавершённые страницы.

Меня спрашивали: «Зачем ты это делаешь?».

Я отвечал: «Чтобы не подохнуть от скуки; чтобы не свихнуться от восторга перед прелестями торчащей перед глазами действительности; чтобы не заржавело…»

Так что, всё то, что я написал, скорее всего, это мои большие и маленькие неснятые фильмы. Смешные или горькие размышления о результатах того, что всё-таки удалось запечатлеть на плёнке и с теми или иными потерями довести до экрана…

Достаточно свободно и без особого давления с официальных сторон мне удалось снять несколько научно-популярных фильмов (на московской студии, что находилась на Лесной улице).

Среди них были замечены:

«Старт в стратосфере» — 1955 г., «Если бы горы могли говорить» — 1956 г., первый номер детского киножурнала «Хочу всё знать!». И — только два художественных игровых фильма — «Последний дюйм» (по рассказу Дж. Олдриджа) — 1959 г. и «Мост перейти нельзя» («Смерть коммивояжера» — пьеса Артура Миллера) — 1960 г. Обе ленты сняты на «ЛЕНФИЛЬМЕ» — спасибо простому и замечательному человеку, тогдашнему директору студии, Николаеву, и художественному руководителю — замечательному, но не простому режиссеру Козинцеву Григорию Михайловичу.

Перечисленное сделано в содружестве с режиссёром Никитой Курихиным. Вместе мы начали работать ещё на режиссерском факультете в институте кинематографии. Он погиб в автомобильной катастрофе летом 1968 года… Пусть память о нём будет светлой. Мы неплохо потрудились. Вместе… А развело нас

обоюдное несовершенство.

Остальные фильмы я уже снимал без него… Он — без меня… Кончилась хрущёвская оттепель (её уже называли «распутицей»). Все мои последующие фильмы были в разной степени изуродованы доброхотами, наставниками и откровенными держимордами. Я в них (в лентах) вижу больше следов увечий и отпечатков пальцев повелителей разных мастей, чем сохранившихся достоинств. А это фильмы:

«Улица Ньютона, дом 1» — «ЛЕНФИЛЬМ», 1962 г. Фильм о молодых студентах-физиках принимали, или, вернее, не принимали, четыре с половиной месяца, кромсали, уродовали его так, что мы уже не могли вспомнить, что из картины удалено, а что осталось, какая реплика заменена по смыслу на обратную, и как нам теперь свести концы с концами. Выворачивали руки, ноги, мозги наизнанку. Больше других лютовал совершенно опсихевший от нашей непокорности зампред Комитета по делам кинематографии (фамилию упоминать просто брезгую, кстати, он был не одинок)… Начали атаку на фильм персонажи из ленинградского обкома КПСС и секретарь по пропаганде (фамилию тоже не назову — пусть и она канет и булькнет в партийно-художественном болоте).

После этого три с половиной года я числился безработным и мог писать свои рассказы и повести, не очень-то сокрушаясь о потерянном времени.

«Крепкий орешек» — эксцентрическая комедия — «МОСФИЛЬМ», 1968 г. Поначалу всё шло довольно благополучно, если не считать «помощи» моих коллег по профессии — худсовета киностудии «МОСФИЛЬМ». Они меня не жаловали — средне именитые, совсем не именитые и даже те, которых никто никогда не знал и не узнает никогда… Тем не менее, фильм официальными военными кругами был принят и включён в программу пышного празднования пятидесятилетия вооружённых сил страны. За один месяц почти ежедневных показов по воинским частям и учебным заведениям я стал: «Отличным пограничником», «Выдающимся сапёром», «Почётным офицером» одной из прославленных дивизий в окрестностях Москвы: ни разу не прыгнувшего с парашютом, меня произвели в мастера этого вида воинской доблести со знаком «101-го прыжка» из поднебесья; я стал почетным суворовцем и отличным воспитателем подрастающего воинского поколения одновременно; апофеозом был Кремль — Почетная грамота специального Караульного полка (тоже с каким-то нагрудным знаком). При этом фильм пользовался неизменным успехом — смеялись и аплодировали от всей души. И всё это я слышал и

видел сам… А тут беда! Наши оккупационные войска в Чехословакии после лихой победы над другом и братом были загнаны в глухие леса и предгорья, без права появляться в населённых пунктах. И затосковали. Глухо. Год, как-никак, 1968-й! В отрыве от живых людей наши солдаты и офицеры малость одичали, стали катастрофически закисать и тухнуть… В политорганах переполошились. Решение было найдено мгновенно: десять самых старших и самых ретивых офицеров и генералов Политуправления Советской Армии были направлены в полки и батальоны, дислоцированные в Чехословакии с десятью копиями фильма «Крепкий орешек»! — для поддержания психической устойчивости и боевого духа. (Клянусь! Я никакого отношения к этой акции не имел — разве что ещё в мае 1945 года (двадцатью тремя годами раньше) был участником освобождения Чехословакии и в передовом отряде, со своим взводом разведчиков на бронетранспортёре, въехал в Злату Прагу в составе танкового корпуса генерала Белова, армии генерала Лелюшенко). Но, как бы там ни было, а военно-транспортный самолёт с десятью копиями «Крепкого орешка» был десантирован во все воинские подразделения на территорию Чехословакии. А с ними десять отважных комиссаров Политуправления.

И вот тут маршальский золотой этаж Министерства Обороны СССР (так называемая «инспекторская группа», а по существу, скопище военных пенсионеров самых высоких воинских званий, от нечего делать решили посмотреть мою ленту, и тут же, после просмотра, грохнули своё единодушное мнение, направленное во все инстанции с требованием: «срочно!». Скромно — положительная оценка моего фильма за несколько часов была заменена на резко отрицательную. И началось… (Но об этом чуть позднее. См. опус «Эксцентрическая комедия»).

Друзья и родные решили, что теперь-то мне снимать не дадут вовсе (320 печатных изданий страны Советов хором заявили, что я «Опошлил последнюю святыню— память о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и надругался над… тут каждый может вставить своё слово, — в печатных изданиях тоже были разночтения — от девичьей и воинской чести, до чести Страны. В целом!»).

В нападках на фильм и его создателя дураки, как всегда, перестарались и, несмотря на множество ограничений в прокате (Минус кинотеатры центра Москвы! Минус все столицы республик! Украина совсем оборзела: «Минус вся республика! — кроме курортной зоны»). Вот тут люди, именуемые зрителями, как с резьбы сорвались: «что же это за диковина такая зловредная, что все, ну, прямо все-все газеты её так сильно лягают, а журнал

«Крокодил» аж двумя фельетонами шарахнул, как из орудий главного калибра». И повалили — за первые полгода 37 миллионов зритепей! Намечался рекорд… Опсихелый зам. дёрнулся и приказал: «Прекратить подсчёт», — «А куда девать цифры и деньги?» — «Перекидывать на другие, идейно выдержанные фильмы выдающихся мастеров, например» (Со мной этот трюк уже проделали при прокате «Улицы Ньютона, дом 1»).

Да ладно уж, чего душу травить? Будем перечислять дальше:

«Посланники вечности» — «МОСФИЛЬМ», 1971 г. «Товарищ генерал» — «МОСФИЛЬМ», 1974 г.

«Шествие золотых зверей» — «МОСФИЛЬМ», 1979 г.

«О странностях любви» — «МОСФИЛЬМ», 1981 г. (стереофильм).

Каждая картина имеет свою историю и приключения, но сейчас не об этом…

Теперь я пишу просто для того, чтобы было написано. И, может быть, издано… Чтобы прочли.

# Самое первое…

…Самым-самым первым оказался Джекки Куган. Мне было три с половиной… но не больше четырёх лет. Это была американская кинокомедия с проказами, драками и трюками. Показали мне фильм в одном из трёх кинотеатров Москвы, расположенных на Пушкинской площади, не в «Центральном», не в «Великом немом», а скорее всего, в «Паласе». И тогда я за кем-то повторил: «Вот так штука капитана Кука», — и от себя добавил: «Джекки Куган», — вот и получалось КИНО. Это были мои первые опыты монтажа несочетаемого — наверное, всё это и оказалось впоследствии моей основной профессией…

Потом уже, и долго, всякое кино я принимал, как дикарь, за чистую монету и считал, что «так оно и было на самом деле» — только никак не мог догадаться, как удалось всё это заснять с такой тщательностью… Сомнений в достоверности происходящего на экране не возникало… А когда я стал догадываться, что всё это как-то воссоздается, делается, творится… На большой перемене в зале школы у Никитских ворот появились какие-то экстравагантные дамочки и девицы. Они вылавливали девчонок и мальчишек в снующей толпе и записывали в свои кондуиты.

— Хочешь сниматься в кино?.. Художественный фильм… режиссер — знаменитая Маргарита Барская… Фильм «Рваные башмаки» видел?.. Ну вот. Это она сделала. Режиссер!!

Но я слыл заядлым театралом, участие в съёмках фильма меня не прельщало. Уже после звонка на урок, когда я бежал в класс, одна из них всё-таки ухватила меня за рубаху.

— Нет-нет… Не хочу!

Вот тут-то меня судьба и застукала: из всей школы выбрали меня одного. И уговорили. Начались съёмки фильма «Отец и сын» — играть никого не надо было: одежда своя, обувь своя (платили за амортизацию) и добивались-то всего-ничего — чтобы каждый как можно естественнее оставался самим собой. Главную роль исполнял Генка Волович с Тверского бульвара, дом 7. Мы сразу подружились и надолго. Разлучила нас только война — там его убили… По-настоящему.

Детфильм располагался в Лиховом переулке, рядом с Большим Каретным, там где теперь Центральная Киностудия Документальных Фильмов. Кроме Маргариты Барской, на студии работали такие знаменитости, как Николай Экк (автор и режиссёр первого звукового художественного фильма «Путёвка в жизнь» и первого цветного фильма «Соловей-соловушка» — его фильмы

знала тогда вся страна). Ещё там работал замечательный режиссер Игорь Савченко — это он снял фильмы «Богдан Хмельницкий», «Дума про казака Голоту»… Сниматься в фильме в то время для каждого считалось большой честью и привилегией, не говоря о деньгах, — ты сразу становился избранным в этой стране всеобщего равенства. И то правда: оплата неправдоподобная — 40 рублей в смену (это всего 4 рабочих часа), а за любое продление смены, хоть на час, хоть на десять минут — вторые 40 рублей; специальные сотрудницы из Наркомпроса держали в «ежовых рукавицах» весь состав съёмочной группы и терроризировали их за всякую, даже самую малую провинность — ещё бы, детский труд в стране социализма запрещён — эксплуатация тем более!..

Большущий автомобиль «паккард» приезжал в назначенное время за каждым из исполнителей (это чтобы малолетние артисты не потерялись по дороге и не расползлись по подворотням). Через два часа работы в павильоне назначался специальный калорийный завтрак с фруктами и сладостями, но… только после того, как ты съел обязательную питательную сметану, масло, сыр и что-нибудь горячее (!) — лафа неимоверная, ведь я был вскормлен на сорокакопеечных котлетах, кашах и макаронах. Ну, ещё — хлеб по карточкам. А чаще обычная студенческая столовая «Рупь-пять» на улице Огарева. Принадлежала Московскому Государственному Университету: полтарелки борща, котлета с так называемым гарниром, и полстакана бледно-розового киселя, который накрывал всю эту муть ещё большей, но чуть сладковатой мутью. И ведь не дохли. Да ещё какие бодрые были! — вот что значит — «Молодость и настрой!»

Но вот тут надо признаться, этот непомерный заработок был мне более чем необходим. Творческий гонорар в два-три раза превышал заработок моей тёти Оли — она работала «на две ставки» — то есть с 8 утра до 8–9 вечера. Даже немного стыдно было перед ограбленной и заморённой до изнеможения высококлассной специалисткой по детскому туберкулёзу…

Мы с Генкой Воловичем не очень-то зазнавались и как могли увиливали от чрезмерной опеки. Мы оба неплохо учились, жили поблизости друг от друга и сходились взглядами — а они у нас были. Всякая исключительность и особенно автомобиль «паккард» нам одинаково претили, как и многое в окружающей нас жизни. Его отец, квалифицированный рабочий, был тяжело болен — родной туберкулёз… А вот сами съёмки и вся кухня кино мне, да и ему, не нравились. Всё время висело в воздухе что-то неимоверно фальшивое — не только во взаимоотношениях

людей, но и в том, что мы порой видели на экране… Нет… Мои симпатии оставались с театром. Генка не был заядлым театралом, но кое в чём соглашался со мной. Туда — в сторону театра я и решил направить свои устремления, свои помыслы. Генка колебался — его больше устроило бы нечто военное. Ну, скажем так, училище… Он знал, что отец долго не протянет.

Роль в фильме у меня было небольшая, как бы совсем второго плана, но выходило так, что вызывали меня на все без исключения съемки. Я даже сердиться начал: «ну чего таскают на студию зря?». Потом стал догадываться — это делается неспроста. Кто-то заботился о том, чтобы я зарабатывал побольше. Становилось немного неловко. А тётка из этих денег не забирала ни копейки, знала, что они мне нужны на серьёзные «лагерные» дела, — папа уже был арестован и находился в лагере под Вязьмой… Я теперь мог делать крупные покупки: зимние суконные брюки, обувь, свитер, рукавицы, шерстяное нижнее бельё — это всё отцу. Раньше я возил туда старьё-хлам и продукты, курево, подарки охране, а теперь мог покупать нужные вещи… Ну, а после того лагеря, конечно, в пионерский.

Чуть позднее понял — режиссер фильма Маргарита Александровна Барская приглядывается ко мне пристальнее, чем к остальным. Она стала приезжать в школу, ни с того ни с сего забирала меня с уроков, и мы бродили по Тверскому бульвару — разговаривали. Она незаметно заманивала меня в кафе ВТО, что было на углу Пушкинской площади и улицы Горького. Там мы сидели подолгу, и она кормила меня, а сама почти ничего не ела, говорила, что ей худеть надо… Оказалось, что она знает о том, что мой отец сидит в заключении, почти не расспрашивала, а больше рассказывала о своих делах, о себе… Поначалу я даже не понимал, что происходит: взрослая, красивая женщина, известный кинорежиссёр, тратит на меня так много своего времени — ведь я был человеком шестого класса неполной средней школы… Правда, я умел слушать — мне было интересно… А когда приходилось говорить мне — был с ней предельно откровенен. Маргарита Александровна не скрывала, что отсутствие своих детей создаёт в её жизни какую-то проблему и наша намечающаяся дружба (она так назвала эти взаимоотношения) ей очень дороги и даже необходимы… Постепенно мы привязывались друг к другу, а я к ней — особенно. Съёмки фильма давно уже закончились, завершился монтаж, озвучание (она обо всём подробно рассказывала) — это была моя первая подготовительная ступень кино-школы. А дальше пошла какая-то путаница и сплошной перекос: фильм «Отец и сын» не приняли — сначала кино-начальники, а там и

партийные шишки; шли непрерывные обсуждения, переходящие в шушуканья; то пахло переделками, сокращениями, то вовсе неприятием и репрессиями… И вдруг — мёртвая пауза. Похожая на затишье перед обвалом.

Как-то прогуливаясь со мной, Маргарита Александровна сказала:

— …Киностудия — особый организм: напряженный, политизированный, завистливый. Опасный. Тут ухо держи востро!.. Меня многие знакомые, сослуживцы стали не замечать, обходят при встрече… Один небезвредный дурак намекнул, дескать, «вокруг меня, в воздухе, висит нечто тяжёлое»… Многозначительно так намекнул. Пошляк… Даже Николай Экк на меня почему-то дуется… Но нам надо думать о другом — о следующей ленте: вот поедем вместе на Кавказ. Будем выбирать натуру. Леона возьмём с собой!.. И всё уладится. Правда?

Но мне казалось, что совсем не то время — ничего пока не улаживается… Она заметила, что я ей не ответил: остановилась, прижала мою голову к себе, как-то крепко и тревожно прижала — замолкла. Мне удалось глянуть вверх — она смотрела куда-то вдаль. Потом посмотрела на меня — в глазах не было ни ласки, ни нежности — пустота… Нет, там было холодное одиночество. Только ладонь, прижатая к моей голове позволяла предположить, что в этом одиночестве, может быть, есть небольшое место и для меня… Наверное, в этой круговерти я был для неё какой-то отдушиной… громоотводом. Или талисманом… Ведь она так и не смогла защитить своё детище, фильм «Отец и сын». А тут ещё я, с путанными проблемами… «Наверное для художника, — подумал я (или это потом пришло?), — нет ничего дороже, ближе, его собственного произведения. Особенно если оно ещё только зарождается, задумывается, ещё вовсе не сотворено. Оно, наверное, дороже даже уже законченного, хоть и подкошенного, уложенного «на полку».

Вот так мы гуляли по тихим переулкам, прилегающим к Тверскому бульвару.

Её вызвали в какой-то кабинет на разговоры. Вышла она оттуда сама не своя, но держалась — стойкая была женщина. Вызвали второй раз и третий… Прямо на студии. Ведь все всё видят. Тут Барская замкнулась и перестала рассказывать что бы то ни было.

По всей вероятности, у неё был не самый покладистый характер — кинорежиссура это удел не самых лёгких людей, — а у женщин в этой профессии не самая лёгкая судьба… Мы виделись всё реже. Она намекнула, что такие встречи могут повредить… Только не сказала, кому. А однажды мы опять

бродили по самым тихим Козихинским переулкам, и Маргарита Александровна стала подробнее, чем обычно, говорить не о делах, сколько о тяжелых извивах своей личной жизни. Оказывается, её «самым близким другом» был известный революционер — большевик Карл Радек (она сказала «революционер», а не «партиец», как было уже принято говорить).

— Может быть, теперь его мало кто помнит, а ещё недавно его знали все, — продолжала Маргарита Александровна. — Ведь он единственный, кто был членом сразу двух Центральных Комитетов: ЦК ВКПб и ЦК компартии Германии. — Она, как по накатанному, продолжала гордиться своим другом, хотя в стране почти все знали, что фамилия Радек стала опасной. — Между нами говоря, он был один из главных организаторов революции девятнадцатого года в Германии — легендарная личность!.. После поражения революции его арестовали и посадили в знаменитую берлинскую тюрьму Маобит. Выпустил его оттуда один из руководителей германской разведки… — она, видимо, знала его фамилию, но не назвала. ***Я*** понял, что Радек был с ней откровенен и успел рассказать немало.

Выходила какая-то путаница: то он был руководителем восстания, а выпустили его при содействии германской разведки?.. Но Барская изрядно волновалась, когда рассказывала, и я не пытался её уличить в некоторых несоответствиях. Большинство революционных рассказов были такими же: насквозь героические, пронизаны тюрьмами — каторгами, гражданской войной, а концы с концами в этих рассказах, как правило, не сходились.

— Все самые острые политические анекдоты в стране постоянно приписывались ему. Даже самые опасные… — говорила Маргарита Александровна. — Он, и вправду, удивительно остроумный человек. Но есть и злонамеренные выдумки. Вот, например: «СССР — что такое?.. — «Смерть Сталина Спасёт Россию»… Ну не мог он такую чушь выдумать… А потом, вовсе не остроумно… И голову за такое оторвут.

Я уже кое-что слышал про это, и анекдот слышал, но не вполне доверял слухам — не мог один человек придумать такую тьмищу анекдотов, да ещё таких антисоветских. Она просто старалась защитить своего друга Карла — может быть, самого близкого человека. А может быть, и покровителя… Ей некому было всё это поведать… И тогда она рассказывала мне. Или самой себе.

А тут его назначают главным редактором газеты «Известия» — это не пустяк: вторая по значимости газета страны, после «Правды»… Ведь он был участником всех открытых и закрытых

съездов Коминтерна… И вдруг мне намекают (вполне авторитетный человек), мол, Радек — один из участников троцкистско-бухаринского заговора. Ну чушь, гнусность какая-то…

Вот это да-а! — вырывается у меня, — Как свидетель или как обвиняемый? — в этих завихрениях я уже начал разбираться.

Она молчит.

— Или, как кто? — допытываюсь я.

— Не знаю… — сокрушённо признается Маргарита Александровна. — На этих днях его арестовали… И теперь… — Она как в отключке, такой я её не видел ни разу.

Барская была природная распорядительница, воительница — режиссер! А тут, как-то совсем беспомощно признавалась, что теряет самого дорогого человека — «друга», она настаивала «друга»… Только, мне показалось, она забиралась туда, куда ей забираться не следовало бы… Ведь это был чужой сад-огород, крайне опасный, ото дня ко дню всё опаснее — тигровый заповедник. Ей там не выдюжить. Мой папа и я, следом за ним, уже прошли часть этой выучки и были опытнее неё, а чем-то, может быть, и её друга. Ведь наша школа началась ещё в 1935 году. Там и не таких ломали.

Фильм не принят и не запрещён: дают поправки и не обсуждают, не смотрят сделанного; всё кино-начальство, да и партийное, увиливают, уходят, глухо молчат. А ведь она уже начала готовить следующий фильм. И тут я узнаю (ведь она сама мне сказала), — заглавную роль в этом фильме буду играть я. И проб не будет. Уже назначен день отъезда на выбор натуры, место назначения — Кавказ. Туда она решила взять с собой и меня. Хотя обычно такое никогда не делается. Но она так решила. Я готовился к отъезду — как-никак учебный год ведь не кончился и придётся освобождать меня от экзаменов… И вдруг Маргарита Александровна пропадает… Ну прямо исчезает… За несколько дней до отъезда… Звоню к ней домой (у меня был её домашний телефон, но я никогда раньше им не пользовался) — 29-е — 30-е число, а 31-го отъезд… Весна 1937 года. Трубку берёт её мама и стонет, не может слова выговорить. Я называю себя, прошу сказать, что с Маргаритой Александровной? Как с отъездом?.. Женщина всхлипывает, почти по слогам еле выговаривает с еврейским распевным акцентом:

— … Не — ет нашей Риточки, совсем нет Ри-точ-ки… Нет её… Деточка, родненький, её совсем нет… совсем.

Я кинулся на студию. Меня там кое-кто знал, и кто-нибудь из группы спустится вниз к посту охраны… Звоню по телефону. Не то главный оператор Леон Форестье, не то звукооператор

Озорнов?.. Появляется в вестибюле. Уволакивает меня по переулку, подальше от здания киностудии… Нет, это, конечно, был не француз Форестье, — он сам дрожал — ждал со дня на день ареста — таких, как он, уже гребли одного за другим… Это был, конечно, звукооператор Николай Озорнов… Он сообщает, что Маргарита Александровна вчера покончила жизнь самоубийством — бросилась в пролёт между лестницами. Прямо на киностудии…

Легенд было предостаточно, слухов тоже. Вот гак, в одно мгновение не стало человека, талантливой, активной, заботливой, красивой женщины, — режиссёра Маргариты Барской. Подруги Карла Радека…

Ещё задолго до этого трагического события меня вызвали на кинопробу к режиссёру Игорю Савченко. Пошёл я туда только для того, чтобы не обидеть кого-нибудь отказом. Сниматься в кино больше не хотелось. Вся эта суета уже казалась ненужной. Кроме денег, всё остальное представилось фальшивым. Что-то в этом роде я и сказал в тихой доверительной беседе Игорю Андреевичу. Он готовился к съёмкам фильма «Дума про казака Голоту». Савченко помолчал и стал разговаривать со мной совсем по-взрослому. Он был человек искренний, то откровенно грустный, то до удивления заразительно радостный. Он уломал, уговорил меня, всё-таки провести одну пробу на роль Сашка. И пообещал, что сама проба меня ни к чему не обязывает, а ему она нужна. Во время съёмки он играл вместе со мной, радовался, когда получалось, уговаривал, когда я промахивался, и напоследок сказал, что «наша проба удалась». Меня утвердили на роль сразу. Но я тут же решил голову им не морочить и наотрез отказался сниматься… Тогда же решил: исключение было бы сделано только для Маргариты Александровны… «Если бы только она была жива!..». Не мог же я объяснить им всем, что папа сидит в лагере под Вязьмой, ему там очень плохо, и мне нужно ехать… И пожить там немного с ним рядом… А она… — в пролёт между лестницами…

Какой пролёт, какой пролёт?! Там же в пролёте — лифт! с решётками!..

— Теперь лифт. С решётками. А тогда… так мне была представлена её кончина.

Какой детский кинематограф мог сравниться с этой действительностью?.. Да никакой.

# Человек с ромбами

## *Глава первая*

### *ВЯЗЕМСКАЯ*

— Ну-ка, орел, иди сюда!

Эти слова застали меня во внутреннем дворе первой административной зоны управления Вяземлага НКВД СССР, куда можно было пройти только через два поста охраны, по специальному пропуску (И дернуло же меня выйти в этот лысый двор!). Я остановился.

— Иди, иди сюда, орел, — голос был уверенный, надтреснутый и не слишком строгий.

Какой-то немалый начальник — роста среднего, густая рыжая шевелюра (головного убора не было), а дальше все обычно: шинель внакидку, сапоги начищены, широкий командирский ремень, орден Красного Знамени выглядывал из-под отворота шинели, и — тут у меня чуть не сорвалось, — четыре ромба в петлицах! Четыре — больше не бывает… Если по-армейскому — командарм, а тут комиссар государственной безопасности самого высокого что ни на есть ранга… В голом вытоптанном, как плац, дворе, кроме нас двоих, не было ни души. Всех как ветром снесло.

— Ты как сюда попал? — спросил рыжий с четырьмя ромбами.

— У меня здесь папа, — я привык, что в зоне надо отвечать честно, не мямлить и не заикаться.

— Вольнонаемный?

— Зека.

— А фамилия?

Я назвал фамилию.

— Он что, кажется, в самодеятельности?

— Работает здесь в конторе. И руководит самодеятельностью.

Он кивнул.

— Ну, пойдем, — и положил руку мне на плечо, но положил не так, как при аресте, а обыкновенно, даже покровительственно.

Он вел меня не к тому корпусу, где работал папа, а к соседнему, двухэтажному главному зданию управления. Встречные останавливались, влипали в стенку, тянулись и козыряли.

Этот большой начальник завел меня в просторное помещение

на втором этаже — обычный рабочий кабинет: два письменных стола — большой и поменьше, стулья вдоль стен, сейф в углу, портрет товарища Сталина на стене и бюстик Феликса Дзержинского на сейфе. Усадил меня на стул посреди комнаты и сам сел напротив, широко расставил ноги.

— Кто пропустил тебя?

Я молчал.

— Ну-ну, пионер-всем-пример… (на шее у меня действительно был красный галстук с металлической застежкой и изображением вечно пылающего костра). — Надо говорить. Говорить со мной надо, орел, — он настаивал на моем крылатом происхождении, хотя был я невысок ростом, довольно хлипкого телосложения и лицом, как говорили, даже немного смахивал на девчонку, что меня изрядно удручало.

И вдруг показалось, что никакого страха перед ним у меня нет. Улетучился… И с этим рыжим нужно говорить как можно нормальнее. Проникающей интонацией голоса он как бы предлагал мне говорить с ним доверительно… Но что главнее главного: он сам становился мне завораживающе интересен… А настоящая опасность заключалась в том, что я ведь и впрямь попадал в административную зону лагеря самым что ни на есть незаконным образом — привозил охранникам и их маленьким начальникам картонные (25 шт.) и сотенные коробки папирос «Казбек», — а «Казбек» курили настоящие начальники! — и еще много пачек других папирос привозил, только-только вошедший в моду «Беломор». Почти все охранники знали меня и передавали по вахте новичкам. А папиросы я копил и собирал по полгода кряду. Мне даже иногда их дарили самые близкие школьные товарищи и папины знакомые, хотя и знали, что я не курю. Так что у меня каждый раз собиралась целая коллекция.

Вплоть до дефицитной экзотики: «Тройка», «Герцеговина флор»…

— Надо говорить со мной. Отвечать на вопросы надо, — но в голосе не было слышно настоящей угрозы, в его интонации было даже что-то тоскливое.

Пришлось ответить:

— Да не могу я вам сказать, кто.

— Почему?

— Потому что вы…

— Ну-ну… Что я?

— Накажете.

— Вот те на! Кого?

— Тех, кто пропустил.

— Резонно. Но, ты же знаешь, детей в зону пускать не

полагается. И вообще, без пропуска…

— Знаю, — ответил достаточно покорно, (раз у него четыре ромба, теперь он будет всегда прав) но еще не сдался. — На каникулы я всегда приезжаю к папе, — проговорил я, а сам пока соображал, как бы не сказать лишнего.

— Вот видишь? — то ли по усталости, то ли по незлобивости он мне кого-то напоминал, но я никак не мог вспомнить, кого.

— Значит, не скажешь? — уже строже спросил он и чуть задирая при этом голову.

Я подумал-подумал и тихо ответил:

— Не скажу, — решил вести себя, как революционер-подпольщик перед жандармом. Но беда была в том, что он на жандарма не походил… «А на кого же?»

— Ну, — неожиданно рыжий хлопнул ладонью по коленке, широко улыбнулся, — он не скрывал, что ему такое поведение нравится, — Молодец, — сказал он. — Не хочешь фискалить. Да если мне понадобится, я и сам узнаю. Значит, зовут тебя как, пионер-эсэсэсэр?

Тут я, конечно, сразу ответил и сразу же спросил:

— А вас?

Рыжий поморщился, жестко потер густые волосы:

— Матвей… Семенович, — видимо, мало кто его здесь так называл.

— Спасибо, — проговорил я.

— За что же спасибо?

— Не знаю… Так полагается.

— Вот это да! — хохотнул он.

Надо заметить, что смеяться он умел. Хорошо смеялся.

— Здесь тоже живут люди, так же работают, — он немного замялся. — Народец, скажем, несколько другой. Разный!.. Ты откуда приехал?

— Из Москвы.

— С кем?

— Ни с кем.

— Ну и ну! Совсем самостоятельно? — я кивнул.

— А деньги где взял?

— Тетка дала. И зарабатываю.

— Но ты же учишься?

— Учусь, а зарабатываю как надомник, — я уже знал, что всех взрослых удивляло и даже умиляло, что я зарабатываю деньги и не меньше, чем они. — Знаете, есть такое название «надомник»?

— Что-то вроде «домушника», — странновато пошутил он и тут же спросил с недоверием. — Ну-ка, расскажи!

А я подумал: «Наверное, совсем делать нечего, если столько

времени тратит на разговоры со мной».

— Мне дают работу на дом… А за деньгами должны приходить взрослые — те, у кого есть паспорт.

— И что же, к примеру, делаешь ты?

Я стал рассказывать:

— Для начала дали штампик, и рубил пластмассу на лепестки. Довольно нудная работа и плохо оплачивается. Вот перед тобой образец — например, клипс для уха или брошка — набор лепестков и листочков. Пинцет, ацетон, кисточка — тут внимание, не промахнись, а то все переделывать. Ацетон очень быстро сохнет… Испаряется… А переделать труднее, чем сделать заново, — я говорил, а руки сами двигались, становился ясен весь немудреный процесс сборки дамских украшений.

Он заинтересовался. Стал расспрашивать: сколько можно так заработать? а какая работа считается доходной? а сколько часов в день ты можешь работать? а кому дают самую выгодную? обманывают ли пацанов, или все по чести? А кто они такие, ваши работодатели?

Тут он отошел к столу и что-то записал в блокноте. А я стал сбиваться — ведь не на все его вопросы надо отвечать. Так и заложить кое-кого можно… Потому что самую выгодную работу в этих небольших артелях или кооперативах давали под большим секретом семьям репрессированных. Из детей я вообще был один. Да еще оформляли под другими фамилиями, и еще время от времени переводили из одной артели в другую, чтобы не застукали. Все это делали какие-то пожилые артельщики с лицами удрученных академиков, почти все седые и не плохо и не хорошо одетые, и почти все без фамилий, только с именами и отчествами… Перед этим самым приездом в Вязьму я работал уже в паре с одной очень старательной женщиной средних лет. Миловидная, спокойная — в цехе, сразу видно, «чужая». Ее муж еще недавно был большим чином в НКВД. Но его посадили и ни слуху, ни духу — знаете, «без права переписки». А это навсегда. Анна Григорьевна, его жена, бедствовала с двумя детьми. Встретились мы в цехе наглядных пособий на улице Герцена, в крыле старого дворянского особняка, куда меня недавно перепасовали, — клеили азбуку для первоклашек на листы картона, а потом разрезали на квадратики и укладывали в коробки. Руки пухли и пальцы не сгибались от большущих ножниц, а резаков (специальных прессов) не было — все вручную. Знали бы сопливые первоклашки, во что обходится их начальное образование! Эта женщина почти всегда приносила на работу в старом английском термосе чай, какие-нибудь бутерброды, печенье и подкармливала меня. Было очень неловко, но у нее я

всегда брал… Даже не знаю почему.

Была одна рабочая операция, очень занятная и выгодная — делали ее профессионалы с другого картонажного предприятия. Калымили и отлично зарабатывали. Бригада клейщиков из трех-четырех человек приходила в цех один раз в неделю, вкалывали они по несколько часов, заваливали нас заготовками и уносили львиную долю заработной платы… Я пристально наблюдал за каждым движением их рук и даже один-другой раз, во время перекуров, пробовал повторить их сноровистые движения. Это были настоящие мастера.

И вот однажды я попросил начальника цеха — сухого и сурового еврея — разрешить мне остаться после работы. Уже начались какие-то школьные каникулы, хотелось попробовать самому выполнить работу профессионала. Начальник цеха колебался, что-то бурчал себе под нос, но разрешил, а сам остался сидеть в своей конторке. Никто из работниц цеха в мою затею не поверил. А вот Анна Григорьевна подошла и произнесла:

— Действительно, ну почему не попробовать?..

— А вы останетесь со мной? — спросил я.

Тут обязательно нужна была хотя бы одна подсобница, а у настоящих мастеров бывало и но две.

— Я, пожалуй, не справлюсь, — сказала Анна Григорьевна. — Но, может быть, чем-нибудь помогу…

И осталась.

Делал я все точно так, как делали настоящие мастера: разогрел на электроплите клей в тазике, промыл щетки, протер лист толстой фанеры и уложил его на рабочий стол, но когда началась сама работа, ничего не получалось: то слой клея не ложился, то лист бумаги морщился, а помощница делала ошибку за ошибкой, это тогда, когда мне кое-что удавалось. Горе — и все тут! Я уж было взвился и понес всех чертей по всем полкам, но Анна Григорьевна довольно строго одернула меня (впервые за все время совместной работы). Попросила передышки, изгибом руки откинула выбившиеся волосы и пошла мыть руки. Она из термоса разлила остатки чая по кружкам, достала две конфетины — мы пили чай, а она меня увещевала:

— Я же предупредила, что у меня, наверное, не получится. А у тебя все получается не хуже, чем у них… Только, по-моему, у них все как-то спокойнее, размеренней. И — ты заметил? — они, когда работают, не ругаются. А когда начинают ругаться, дергаться, у них тоже не получается…

Я угомонился, и через некоторое время кое-что стало складываться. А еще через полчаса появился из своей каморки сам начальник цеха, осмотрел заготовки, (весь брак мы успели

вынести на помойку), посмотрел строго на меня, на Анну Григорьевну и, как опытный врач, поставил диагноз:

— Получится… Со временем, конечно.

Так я стал квалифицированным рабочим, с самой высокой оплатой в цехе, а Анна Григорьевна моей подсобницей.

Этот рабочий трюк решал множество проблем, ведь я опять собирался ехать в Вязьму к отцу.

С Анной Григорьевной мы познакомились гораздо раньше, чем встретились в этом цехе. Задолго до того я видел ее один раз: давнишний приятель отца почти насильно приволок меня в ее замечательную квартиру на Мясницкой, он хотел что-нибудь сделать для моего уже арестованного папы. Велось следствие — назревал большой политический процесс. Это был тридцать пятый год.

— Из ничего… Ты понимаешь, из ничего!.. — кричал он, как будто это я посадил своего папу. — Ты обязательно туда пойдешь! Всенепременно!.. Ведь если кто-нибудь из влиятельных лиц вмешается или даже поинтересуется, то они разберутся, и во всем их процессе и в обвинениях камня на камне останется. Это же все пустышка. Вот увидишь!.. Ты пойдешь туда. Пойдешь!.. И будешь просить!

Надо было идти. Тетка металась, нанимала знаменитого адвоката (еще были знаменитые — не то Брауде, не то Лурье), папин друг искал могучих связей, еще на что-то надеялся, дядька по маминой линии как раз к этому времени был сшиблен со всех своих высоких должностей, и на его ромбы никакой надежды уже не было.

Да и ромбов, кажется, уже не было. Скорее всего, отца тогда и взяли в поисках компрометирующих материалов на самого дядьку. В этой ситуации некогда могучему дядьке лучше всего было бы не рыпаться. Вот он и не рыпался… Я же считал, что все непременно, и непрерывно должны «рыпаться». Я думал, что мой знаменитый дядька должен был ринуться в бой за своего друга и обязательно спасти его. Дядька сгинул первым — его не стало ровно через месяц… Хозяйкой той квартиры, куда меня приволокли, была Анна Григорьевна. А ее муж — тот самый шибко ответственный работник НКВД с ромбами… Тогда еще казалось, что количество этих геометрических фигур в петлицах способно как-то магически влиять на наши судьбы… Потом, годы и годы спустя, на иконе «Спас в силах» я разглядел пурпурный ромб с золотой окантовочкой… Я смотрел и почему-то вспоминал их ромбы… Неужели в этой геометрической фигуре столько мощи? Или это только ее условное обозначение?..

А тогда меня передавали по цепочке — один другому, один

другому. Те, что меня привели в дом, сразу куда-то скрылись, а меня вроде бы оставили ужинать… Прошла целая вечность, но я ничего не забыл: ни того вечера, когда сидел у них в столовой — все ждали появления хозяина и шептались, а я не находил себе места от стыда и унижения, ведь мне предстояло просить совсем чужого человека, я даже понятия не имел, как он выглядит, в чужом доме — просить (я даже не знал, как это делается) за самого чистого, на мой взгляд, самого справедливого, самого честного и ни в чем не повинного человека — моего отца, уже арестанта… Я не знал, куда деть руки, куда сесть, что кому говорить…

С самого раннего детства я боготворил своего отца. Всю возможную любовь к рано умершей матери, даже лица которой я не мог вспомнить, к брату или сестренке, которых не было и в помине, всю любовь к окружающему миру, луне, солнцу, звездному небу — всё это вместе взятое я превращал в боготворение моего отца — мужчины с теплыми ласковыми руками, доброй улыбкой и светящимися любовью глазами. Ничего выше и прекраснее я не знал. И не знал, что все это обозначается такими словами…

Меня посадили за стол. Ждали долго (или мне так показалось)… Появился хозяин — как темное облако без лица, только два ромба в петлицах. Сел в торце — нас разделял угол столешницы. Меня, совсем постороннего человека, как бы и не заметил. Он приехал домой ненадолго: поужинать, может быть, немного отдохнуть после какого-то невиданно изнурительного труда. Я почти ничего не ел, не знал, как начать такой трудный разговор, да еще при людях… Да еще все время забывал его самое обыкновенное имя-отчество… А ужин был по тем временам очень хороший. В самом конце хозяйка едва заметно кивнула мне, и я обратился к ее мужу со своей бестолковой и путанной просьбой… Он сначала вроде бы и не понял даже, о чем идет речь… А когда понял, весь как бы окаменел, кожа на лице побелела, натянулась, он ухватил рукой затылок, словно ему туда выстрелили… и я был причастен к этому выстрелу Он что-то буркнул, поднялся (стул с грохотом отлетел в сторону) и вышел в соседнюю комнату. Хозяйка, не спеша и очень осторожно, вышла вслед за ним… Потом вскоре вернулась, передала извинение — дескать, у него с головой сегодня что-то неладное… Ну так и без слов видно…

Он ничего не сделал для моего отца, или не смог сделать… Нет — не сделал!..» А вот теперь мы, я и его жена Анна Григорьевна, вместе трудились за одним огромным рабочим столом — я значился клейщиком, она моей подсобницей.

Клей сох очень быстро, и нужна была сноровка, которой у нее

не было. Но она старалась… Как-никак осталось двое детей, их нужно было кормить. Уже не было той квартиры, того ужина, того мужа… И кто-то все это понимал и как-то помогал ей выбраться из этого омута.

Я при помощи большой одежной щетки широким, плавным и огибающим движением руки размазывал горячий клей по фанерному листу; два легких касания — и большой лист бумаги покрыт тонким, ровным, липким слоем; переворот листа и отбрасывание его в сторону одним движением, как на воздушную подушку — и чтобы место для него уже было освобождено. Она подхватывала, накладывала лист на картон (пока не остыло), разглаживала и перекладывала на просушку…

Но всего этого я не мог рассказать Матвею Семеновичу. ––Ты в какой школе учишься? — спросил он.

— В 125-й на Малой Бронной.

— А моя дочка в 105-й, и никакого слада с ней нет — бандитствует!..

Среди заключенных поговаривали, что дочка самого начальника ГУЛАГа каким-то образом спуталась с уголовным миром и он, всемогущий Берман, да и его дражайшая половина — активный работник аппарата ЦК ВКП/б — не могли ничего с ней поделать. И это не были слухи или сплетни — обо всем этом говорили как о большом горе.

— Фотоаппарат ФЭД знаешь? — неожиданно поменял тему Берман.

— Знаю.

— Вот эти аппараты делают на комбинате при коммуне имени Феликса Эдмундовича Дзержинского, — с гордостью сообщил он, словно сам был конструктором этого аппарата или обнаружил признаки того, что я со временем стану одним из подопечных этой коммуны.

Вслед за тем я узнал, что горемычный отец Матвей Берман родом из Новосибирска и после смерти знаменитого педагога и воспитателя малолетних преступников, самого Макаренко, был начальником этой замечательной то ли колонии, то ли интерната под названием «Коммуна».

— Но недолго… А до того…

Наверное, много всего другого было у него до того.

Был у него, у этого Бермана, свой особый большевистский форс и повадки вождя, но ему еще чего-то не хватало ко всем ромбам, ордену, власти… Что еще ему так уж нужно было?.. Мне трудно было понять… Может быть, сочувствия? Может быть, чтобы кто-нибудь восхитился им: его трудолюбием, подвигом, размахом Свершений?.. Или, может быть, сердечно одобрил его

самого и всю его деятельность? Может, ему хотелось быть еще и легендарным и беззаветным? Ведь все поголовно хотели быть Героями! И от кого они этого ждали всего? От заплутавшегося в дебрях ГУЛАГа школьника? Да еще сына заключенного… Может, ему нужно было какое-то независимое, беспристрастное признание всей совокупности его заслуг, что ли? А может быть, он тосковал по обыкновенной мальчишеской привязанности? Или даже любви… Тогда там я ничего не мог понять. Недоумевал и пытался вспомнить, кого он мне так напоминает? Мне казалось, что все начальники в нашей стране, а может быть, в мире тяготились тем, что обыкновенные люди постоянно их о чем-нибудь просили. А если не просят, то еще больше тяготились и ждали, что вот-вот станут просить. А если и вовсе не просили, то было совсем уж невмоготу: «Это что ж такое происходит? Даже не просят?!». Тут уж сердились…

— Есть у тебя какая-нибудь нужда? — Не выдержал Берман, кожа на его лице натянулась, а под ней выступили желваки и образовались впадины. Я поспешил и сказал:

— Нет!

— Что, совсем никакой просьбы нет? — Он не поверил.

— А вы кто? — Пришлось спросить.

У меня перехватило горло — он добился своего: я же не хотел спрашивать его об этом. И не хотел ни о чем просить.

— Я заместитель наркома, — как мог проще ответил он.

Для меня это было выше всякой допустимости.

— А начальник Вяземлага вам подчиняется?

— Думаю, что да, — нет, он не важничал.

— Тогда, — я это, кажется, излишне поспешно выпалил, — отпустите папу!

— Как же это? — Берман даже обиделся. Я с тобой, как со взрослым человеком, а ты… Я действительно занимаю пост замнаркома. Но ни одного человека, слышишь, ни одного сам я не арестовал. Не посадил, ты веришь мне? Ну, и не выпустил на свободу. Не имею права. На это есть другие. Органы. Службы.

Тут я обрел часть прежней уверенности и почти перебил его:

— Что я с луны свалился?! Я ведь не прошу отпустить насовсем. Я прошу — из зоны. Пока я живу здесь, в Вязьме. Он никуда не убежит и на работу будет ходить. Как полагается. Я пока не того…

Берман чуть сконфузился, поворошил свою рыжую шевелюру и сказал:

— Это другое дело. А то я подумал… — Он хохотнул. — Конечно, не обещаю, но… Наведу справки. Ты где живешь?

— Над железной дорогой… У паровозного машиниста, — мне

не хотелось называть ни имени, ни фамилии. — Я всегда у них останавливаюсь.

— За постой платишь?

— Пятнадцать рублей за две недели.

— Не мало дерут.

— Ну что вы! Они как за стол садятся, так меня сразу зовут. Кормят. Очень хорошие люди.

— А вот по зоне тебе все равно лучше не шастать, — все-таки сказал он.

Вот тут я, кажется, скис — знал, что одного взгляда замнаркома хватило бы, чтобы меня отсюда выдворили навсегда. Да еще и наказали бы всех за послабления и потерю бдительности.

— Я вообще в первый раз в этот двор вышел… Уборная в корпусе сломалась, ее заколотили…

— Знаю, — с пониманием заметил комиссар государственной безопасности.

Дверь распахнулась, и на пороге остановился высокий грузный мужчина с одутловатым лицом — начальник Вяземлага полковник Петрович, — так его здесь все называли, и я его уже видел. Он буркнул что-то вроде: «Ррршите?»

— Мы в твоем кабинете, Петр Алёсандрович, с пионером вот беседуем. Он просил на то время, что будет в Вязьме, отпустить отца из зоны. А теперь, — он обратился ко мне, — иди по своим делам, орел.

Я попрощался и вышел. В голове гудело. Ноги дрожали. Но ничего… «Кажется, обошлось. Хотя, кто его знает». Зато я вспомнил, кого напоминал мне взгляд Матвея Бермана. Выражением голубоватых тоскующих глаз он был похож на врубелевского Пана — картина в Третьяковке рядом с знаменитым «Демоном», потом их убрали в запасник… И это сходство не отодвигало, а скорее приближало его ко мне.

В довольно просторной комнате, переполненной рабочими столами, находилось около десяти квалифицированных зеков — все сотрудники управления, в том числе и мой отец. Тут был полный переполох: кто-то через окно видел, как меня увели в главный корпус.

— Да ты знаешь, кто это? — кинулась ко мне Верочка Малиновская, ныне художник-оформитель, а некогда удачливая грабительница, опытная авантюристка и проститутка. Она промышляла на комфортабельных пароходных линиях Черноморья. — Знаешь?!

— Конечно, знаю, — ответил я.

— Кто?

— Матвей Семенович, замнаркома.

— Чудик, это Берман! — ее голос слегка дрожал.

— Комиссар безопасности! Начальник ГУЛАГа НКВД СССР! Ты понимаешь? Это… это…

— Да он сам мне все сказал, — я немного разыгрывал свою таинственную причастность к этой фигуре. Попутно наблюдал за общим смятением. Один папа был спокоен. Верочка обняла меня, прижала, и утащила в свой угол к большущему столу. «Она хорошая женщина, говорил отец, — правда покуралесила изрядно, наверное, больше не будет». Говорил, как о девчонке-проказнице.

— Ты хоть попросил его о чем-нибудь? — допытывалась Верочка, так, чтобы другие не слышали.

— Ну, а впечатление, впечатление какое? — спросил кто-то из мужчин охрипшим басом.

— Оставьте мальчика! — взвилась Малиновская. — Ему и так это…

— Что, и спросить нельзя?

— Я тебе спрошу! Я тебе так спрошу, что… — она сдерживала себя по всем линиям. — Подвести его хочешь?! — казалось, она вот-вот кинется на безобидного простуженного.

— Ну-ну… Я того… — бас заткнулся.

Водворилась мрачная пауза. Верочку здесь побаивались. Только отец как работал, так и продолжал, не проявляя ни малейшей заинтересованности к происходящему. Через некоторое время он оторвался от работы и произнес:

— Поздравляю! — он снял очки и откинулся на спинку стула. — Такое знакомство не каждый день сваливается. Только неизвестно — к добру или очередному казусу…

Я подошел к нему вплотную и прижался к плечу. Уж больно скучно без него мне было все эти годы.

Папа потрепал меня по затылку и поцеловал. Я знал, что он был мне благодарен за что-то. Я только не знал, за что. Кроме отца, поздравляли, подбадривали и другие, а на меня уже наползал страх.

Как я тогда отозвался о нем? Не помню. Все хотели знать мое мнение! Кажется, я сказал им: «А чего? Вполне…»

Верочка Малиновская ощерилась, гнала любопытных зеков и чуть не колотила. Она знала, что это опасно, стукачей и здесь было предостаточно. Она знала все об этих кобелях с ромбами. Они были не лучше и не хуже кобелей со шпалами и кубарями, иногда чуть лучше, чем грязные кобели с сикелями-треугольниками — вот какая была геометрия… Мне тогда Берман не то что понравился, он… мог бы ещё понравиться. В нем было

столько от «настоящего коммунистического вождя», от справедливого устроителя жизни! Только что рыжий! А что бы ему стоило — фантазировалось — ведь вот захочет, и стразу отпустят… Ну, если не на совсем, то хоть на время каникул. Одно его слово, и все охранники будут меня пропускать, еще улыбаться будут: «Проходи-проходи, пионер эСэСэР». А папа поднимет руки, и они его будут вежливо обыскивать. Даже шутить, мол «рельсу сигнальную не уносишь ли?». И там, где я живу, у машиниста Михал Николаевича, все бы в доме знали, что есть у меня защитник — четыре ромба. Например, зовут к столу: «Ужинать!», а я совсем просто так говорю: «Спасибо, я уже ужинал». Как бы невзначай: «А как же папа? Ведь Берман с папой ужинать не может?» «А мы с папой потом отдельно поужинаем. Еще раз…»

Не очень-то все вязалось, мешали шероховатости, намечались какое-то неудобство… подобие небольшого предательства… Но в мечтах особые условия — никто не придирается. Если сам не взыщешь… «А разве предательство может быть маленьким?»

В этой большой комнате никто толком не работал, больше делали вид. «Правда, отец работал, и его называли «Наш ударник!» А больше всего осторожно перемывали кости разным людям да обменивались новостями. Но всегда тихо — один на один. Меня в расчет не принимали. Чего только тут я не наслышался… Рассказывали, что на лагпункте Баковка урки отказались работать. Очередной отказ — зековская забастовка. Туда срочно была направлена бригада женсовета, состоящая из общественниц, жен командного состава. Они должны были выяснить причины отказа, по возможности навести умиротворение и хозяйственный порядок! А начальник третьего отдела со своими сотрудниками в то же время должен был выяснить, нет ли там КР — контрреволюционной подоплеки? «А если и нет — будет».

Урки лежали сплошняком на голых нарах и с бабами не хотели разговаривать. Вот пусть охрана уйдет, — кричали с нар, — тогда поговорим с дамочками начистоту, — и ржали.

— На все вопросы ответим, каждой в отдельности… И всем хором!

— Отказников не будет!

— Перевыполнение норм — обеспечиваем! — Выкрикивали с нар, как на демонстрации. — Восемьсот процентов! — При этом на нарах громко пердели и на губах издавали еще более неприличные звуки. И опять ржали так, что видавшие виды жены комсостава выскочили из барака, словно уже насмерть изнасилованные, с вытаращенными глазами и крепко сжатыми коленками. И охранники выкатились за ними тоже изрядно

взмокшие.

Здесь, когда рассказывали, меня не стеснялись, это я иногда втягивал голову в плечи и делал вид, что не слышу. Только Верочка протестовала как могла:

— Вы что, совсем с глузду съехали?! — выкрикивала она. — Что? Что мелете при ребенке? Отщепенцы!

Рассказчик сразу затихал, а после паузы принимался вновь, точно на том месте, где его оборвали — это был их образ жизни, а с образом жизни нельзя бороться — бесполезно. Однажды Верочка дербалызнула своего хахаля-архитектора (она сама его так называла) тяжелой линейкой по шее. И не шутя, а так, что он малость окривел, долго бурчал, поругивался и держался за шею.

Отец внимательно смотрел на меня и никогда не просил отойти в сторону или не слушать. Только смотрел, чтобы я сам, без подсказки с его стороны, понял что-то еще, сверх отпущенной мне меры. В общем-то все было обыкновенно, но зачем комсоставские жены ринулись на вразумление отпетых уголовников?

Да еще отказников? Они все что, сбрендили?! Ведь если бы не усиленная охрана, их бы там всех упилили хором. Самым изуверским образом. Всех до одной. Не обращая внимания на возраст. И, возможно, досмерти. Тут всем уголовникам и их обещаниям я бы поверил безоговорочно.

В беспредельности пребывал весь ГУЛАГ — начальство, службы, охрана, зеки — от самых высоких партийных и государственных до последнего занюханного карманника. Так что не стоило удивляться тому, что со временем и страна со всем ее населением обуглится и погрузится в глубокую уголовщину. Из ГУЛАГа было виднее. Нынешние удивления «охи и ахи» тут неуместны. Мы всем скопом шли к тотальной уголовщине десятилетиями, целенаправленно и мощно. Мы сделали то, что делали так упорно и долго. ВСЕ! Исключений нет, и Святые не в счет. Или: Святые не в счет — они Святые; а дальше исключений нет…

Это там же я слышал, что одно из женских лагерных отделений находилось в большой церкви, разделенной могучими перегородками на секторы и зоны.

Туда вот мужчинам заходить не то что поодиночке, а даже малыми группами категорически воспрещалось — не изнасилуют, а умучают насмерть, растерзают изуверски, и все на почве сплошной «лююб-виии» — «Трю-ю-юп не найдешь!». Хотя, казалось, какое надругательство могло быть гаже всей этой исправительно-трудовой системы?

Это там и тогда я возненавидел уголовное сборище — по

одному они могут изредка быть вполне замечательные экземпляры — возненавидел их повадки, лексику, ставшую всенародной и партийно-государственной, их песни, порядки и уставы, возненавидел навсегда. Постепенно все эти художества перекочевали в науку, в искусство, в литературу, школу — это все еще куда ни шло, а ведь просочилось и затопило исконную деревню. Не говоря уж об армии. Армия переняла уголовные порядки. Вот тут и таилась погибель наша.

— А я тебе подарок приготовила! — Верочка обняла меня и снова поволокла к своему столу. — Вот, сохнет… — Малиновская была какая-то порхающая, даже длительное лагерное сидение, видно, ее не сломило.

Про нее, про Верочку, все эти рыцари болтали без удержу. Друг другу, как бы невзначай. И ведь знали, что я слышу. И неизменно вызывали во мне неприязнь — не к Верочке, нет, а к ним самим — рассказчикам. И правильно она делала, что почти всех их за мужчин не считала. Это там я уяснил — сплетничающие мужчины — хуже самой грязной проститутки.

На Черном море, тогда, Верочку долгое время не могли поймать. Она отличалась высоким профессионализмом и разнообразием грабительских приемов. Малиновская чистила уже самых матерых ответственных, побывавших за границей, забиралась все выше, поднимала ранг своих подопечных, тут, видимо, перешагнула какую-то уж совсем запретную черту, взяла «на цугундер» секретного бобра, имеющего скрытую личную охрану, и засыпалась. Судили ее уже не столько по уголовному кодексу, сколько по всей строгости совершенно секретной революционной совести. И закатили полную десятку, хоть ни одного мокрого дела за ней не числилось. Она смирилась — «хорошо еще «вышку» не схлопотала».

Здесь, в большой комнате, размещалось несколько персонажей с фантастическими фамилиями — не было двух похожих. Но у большинства биографии были самые заурядные, и торчали они в лагере просто так — то ли по нелепости этого мира, то ли по невероятной дурости всей вычурной и ряженой системы. Папа говорил:

— Ты не очень впечатляйся и не осуждай. Они ведь друг другу рассказать этого не могут. А кому-то рассказать хочется. Вот и терпи. Пригодится.

Удивляла не сложность их судеб, не разнообразие человеческой выдумки, а нестерпимая покорность судьбе и обстоятельствам. Наверное они все очень устали. Тут настоящие уголовники-рецидивисты были куда шустрей. К отцу большинство зеков да и вольняшек относились с редкой симпатией,

участникам самодеятельности делались самые разные, хоть и пустяковые поблажки, а это не было свойственно зоне… Так выражалось идолопоклонническое отношение людей России к искусству вообще и к его носителям, в частности. Одним из таких носителей, видимо, считался мой папа. Шутка ли? Даже лагерное начальство невольно было подвержено этой слабости.

Мой отец всегда был внимателен к женщинам и не столько ухаживал за ними, тут я мало что знал, сколько восторгался ими и ценил, казалось, только за то, что они женщины. Эту замечательную странность он сохранил и в заключении. Хотя во многом он там изменился до неузнаваемости.

Верочка часами держала меня подле себя, и очень сердилась, если кто-либо прерывал наше общение. Ее законный жених — инженер-конструктор отыграл свой срок (семь лет), остался вольнонаемным, жил на частной квартире и ожидал ее освобождения. Мужчина среднего роста, щупленький, с тоненькими усиками «рыцаря ресторанов», болезненно влюбленный в нее. По образованию он действительно был архитектор, и это Верочке импонировало. Она держала его в строгости и на расстоянии. Но, как я понял, наличие официального жениха ограждало ее от многих других посягательств. Мне рассказывали, что один раз архитектор даже вешался. Но повесился почему-то в проеме окна. С улицы увидели и вытащили из петли полуживого. Верочка сказала:

— Этот ничего сделать по-человечески не может. Разве что срок отхватил нормально. А уж повеситься как следует не смог.

Я удивлялся, почему люди так не любят неудачных самоубийц: ведь их никто не называет «везучими» или «счастливчиками». Словно тот всем что-то пообещал и обманул — не выполнил. Словно людям хотелось, чтобы все самоубийства заканчивались скромными похоронами. И можно было бы вдоволь поудивляться и посочувствовать. Неудавшихся самоубийц постоянно обвиняют в неискренности, Словно доказательством полной искренности может считаться только их смерть. Однажды я спросил Верочку:

— А когда кончится срок, вы выйдете за него замуж?

— Никто не знает, кто за кого выйдет, — ответила она. — Знают только трепачи и гадалки. А ты знаешь, на ком женишься?

Я не знал, на ком мне бы следовало жениться (и, кажется, до сих пор не знаю), но надо было отвечать, ведь мы беседовали.

— На ком? — снова спросила Верочка, словно я должен был женится только на ней.

— На негритянке, — ответил я.

— Это почему еще?! — она очень удивилась.

— Их все угнетают, — признался я.

— Неправильно решил, — вмешался в разговор отец, не отрываясь от работы. — Самые красивые женщины остались в Ростове-на-Дону и Одессе. Учти. И это русские женщины.

— Ладно, учту, — отмахнулся я.

Верочка подарила мне вырезанную из картона и ловко склеенную эмблему строительства автострады Москва- Минск, украшенную двумя жирными заглавными литерами «ММ». Ломаная линия изображала трассу, а сверху вниз все поле эмблемы пересекали две тонкие линии силуэтов Ленина и Сталина. Художественное произведение было смазано каким-то великолепным лаком и присыпано золотистым порошком — походило на бронзовый рельеф. Я был ошарашен. Уж от кого от кого, а от Верочки я такого пропагандистского подношения никак не ожидал. Но она была горда и не скрывала этого. Мне даже показалось, что она рассчитывала на какое-то доносительство, так громко и торжественно она преподнесла мне этот подарок.

На следующий день отца расконвоировали и до конца каникул разрешили жить на частной квартире — это была невидаль… Все поздравляли папашу и главным образом меня. Больше всех радовалась Верочка. Еще бы — самый идиллический вариант из всех возможных осуществлялся наяву.

— Можете себе представить, если и дальше так пойдет. Замминистра наведет порядок в ГУЛАГе, сам Сталин все узнает, наконец — восстановит в стране справедливость. И твоего отца выпустят! А следом и других! Всех нас. Вот будет песня! — Верочка балагурила и, как могла, заводила окружающих.

Но я почему-то не разделял Верочкиных восторгов, а об отце и говорить нечего. Нет, нет и еще раз нет! Все было не так — жили в крохотном закутке, в доме паровозного машиниста. Отец вставал ни свет ни заря и плелся в гору, километра два, в зону «А», где было место его работы. Всякие придирки к нему только участились — еще бы, любое исключение нарушает и усложняет стройную систему устоявшихся правил. Да и расшатывает дисциплину. Обычно я старался проводить папу на работу, хотя бы полпути, возвращался и досыпал до тех пор, пока не станет светло. Но чаще мрачными рассветами подолгу смотрел ему вслед и понимал, что мой папа больше не распрямит сутулую спину, не будет таким заразительно веселым, никогда не разгладятся его глубокие морщины. Даже в Бутырках на свидании он не был таким безнадежным… Папа шел в гору, чуть подпрыгивая, вытаскивал разбитые ботинки из вязкой грязи. Было видно — с ним все кончено… А со мной? — Страшный мальчишеский эгоизм или инстинкт выживания, даже больное

самолюбие не давало покоя и висело тяжелым мокрым шмотьем среди свинцовых облаков над всей Вязьмой. «Только бы не повторить унижений и нищей жизни этого очень доброго человека… Только бы сделать свою жизнь ни в чем не похожей на эту». Вот тут, кажется, часть своих дерзких надежд я подспудно связывал с именем всесильного Матвея Бермана. Если не в реальной жизни, то в мечтах и фантазиях.

В этой надежде была какая-то таинственность и надтреснутый звук, нечистый, со скрежещущим призвуком и все-таки сладкий зов власти, на сторону которой, вот так вот, можно склизануть. И застрять там… Нет, нет и НЕТ! Ничего не должно быть в угоду сволочной выгоде, а уж ценой какого бы то ни было предательства… Нет!

Это были весенние каникулы моих надежд и сомнений.

Это были зимние каникулы трудного выбора. Летом меня тетка отправляла в пионерские лагеря…

## *Глава вторая*

## *ПРАЗДНИЧНАЯ*

Весна в тридцать седьмом была чудо-весна. Трамвай: «дзинь — дзинь!..»

Уже на восьмое март было тепло — мимоз навалом, учительницам дарили не веточками, а целыми букетами — нюхайте, наслаждайтесь, отдыхайте от нас — изуверов!.. Почти все мальчишки бегали в школу уже без пальто, а за шиворот — ка-па-ет!.. Сосульки с крыш нацелены на макушки — того гляди, «шарах… и Шопен!». В классах окна настежь, и крик такой, что прохожие у Никитских ворот вздрагивают — попробуй не вздрогни, если бутылкой с веточкой, усыпанной нежными почками, по кумполу одному прохожему чуть не угодило — «чуть-чуть не считается!» — из окна бросили на перемене без злого умысла — «С приветом!».

Пришла милиция — виновных нет. А на немецком в проходе между партами танцы — фокстрот!.. Настроение шалое. Мы же — всемирные переусторители! Если на то пошло — наши вожди САМЫЕ вождевые! Наш главный вождь САМЫЙ-САМОВЫЙ!

Год 1937-й— всеобщее помрачение…

Тимирязев, который памятник, торчит — уставился в даль Никитскую… Тверской бульвар весь зазеленел и все равно прозрачный — красотища!.. А в сумерках там прохожих раздевают. Умеют. Даже до наступления полной темноты… А

причем тут темнота? Фонари все побиты. Пушкин (тоже памятник, но с другого конца бульвара) заложил руки за спину, насупился — знает, что его все равно пристрелят (здесь все всё знают). Какое-то слово в его стихах каменотесы переколупывают (это на памятнике-то!) — Наплевать, что гранит, когда надо, и гранит крошим. Умеем! А тут май на носу, на школьных тетрадках картинки изображены для пополнения ежедневного образования: таблица умножения на последней странице обложки, картинка из народной сказки на первой странице обложки: богатыри, русалки, попы и их работники — балды… И вот, «чтоб сказку сделать былью», все школьники неполной средней в этих немудреных картинках, в штрихах, в линиях и загогулинах, отыскивают антисоветчину, пасквиль на вождей, призывы против Сталина и соратников, лозунги против Советской власти… Ищут-ищут, найти не могут, по четыре-пять уроков кряду… До одури… Бдительность! Наконец, один нашел: «ДОЛОЙ КАЛИНИНА» — в тридцати трех богатырях, среди волн и облаков… Даже кусочек лица всесоюзного старосты обнаружил, ну, не лицо, а бородка-клинышком — и, вроде, еще один глаз намечается, зато бородка натуральная из перевернутого шлема богатыря! Осталось выяснить фамилию художника, а там и до врага-редактора, и до типографии доберутся… Замаскировались?.. Психоз… И хоть кто-нибудь сказал бы, хоть шепотом: «Опомнитесь, дети! Ну, что за чушь?». Какое там — вся школа включилась — повальный сыск, разбирательства, телефонные звонки…

В один из праздничных дней, в школе у Никитских ворот забегали по этажам учителя, завуч, старшая пионервожатая — кричали, искали кого-то и самым неожиданным образом ухватили за рукав — я мчался сломя голову вниз по лестнице. Схватили и привели в учительскую. Ну, думаю, трояк за поведение обеспечен: «лестничная компания» началась, а я проморгал.

— Завтра торжественный вечер у шефов, их надо хорошо поприветствовать.

— ?

— Сейчас узнаешь. От имени всей нашей школы…

— Вот это да!..

— Молчи и слушай… Ты хоть за последнее время… Но несмотря на… Одним словом, ты будешь приветствовать наших шефов в радиотеатре на улице Огарева — вход не там, где Телеграф, а с противоположной стороны… С Газетного переулка…

— Парадный вход с черного хода, что ли?

— Вот эти шуточки брось, самоучка!.. Учти!.. У наших шефов новый нарком назначен. Очень влиятельный! Это тебе не предыдущий…

Предыдущего только-только расстреляли. — Да там каждые четыре месяца нового назначают..

— Четыре месяца, пять месяцев — не твое дело!.. Подготовься хорошенько. Старшая вожатая Антонина **тебе** поможет. С последних двух уроков завтра отпустим. Ты как, по бумажке, или так?

— Я по бумажке собьюсь…

— Ну смотри, не подкачай. Мы на тебя надеемся.

— А сегодня нельзя с последних двух? Я бы все подумал как следует…

— Ну, знаешь! Это уже!..

Радиотеатр — он же клуб наркомата связи — был набит до отказа. Пионервожатая, долговязая, крепкая связистка Антонина, стояла в проеме боковой двери, почему-то самой дальней от сцены и цепко, обеими руками, впилась в мои слабые плечи — словно я гончая и могу сорваться в любую секунду в бега… В проемах еще стояли люди, и вдоль стен довольно много людей, — заслоняли, я почти ничего не видел — сцену с президиумом, и трибуну созерцать можно было только по частям, причем не всегда — или то, или это или… Было очень душно. Сидящие в зале волновались, тянули головы к сцене, таинственно перешептывались и кивали в сторону президиума. На трибуне ораторы все время менялись, зал взрывался аплодисментами, обстановка была какая-то вздрюченная. Но «Ура» и «Да здравствует» пока не кричали… Как-то само собой я отключился от всей этой кутерьмы — решил: лучше сосредоточиться и подумать, как произнести первую фразу, что бы им всем такое сказать… С чего начать?.. Ведь прямо через дорогу, напротив Центрального Телеграфа, вот здесь — рукой подать, жил и я вместе со своим папой. Знаю тут каждый закоулок, проходные дворы, тупики. У каждого из нас был персональный самокат на двух громыхающих подшипниках, и когда мы гуртом вырывались из подворотни на Тверскую, визжали тормоза, у милиционеров свистки застревали в зубах, а ребята, словно смерч, пересекали главную магистраль столицы и с воплями скрывались в проходных дворах напротив. Если кого-нибудь из нас хватали, считалось, что команда понесла потери — поворачиваться и удирать восвояси считалось отступлением и позором… Но бывали и серьезные культурные деяния: бегали здороваться с худым, высоким, носатым артистом в шляпе и длинном пальто. Он вышагивал обычно от Охотного ряда вверх по улице. Его можно

было издали заметить в любой толпе — такой был артист и так он шёл! С ним здороваться бегала не вся братва — отдельные персонажи из нашего двора. Ровно в шесть тридцать вечера перебегали улицу к букинистическому магазину и караулили.

— Вон он! Он. Плывет!

Выскакивали из подворотни полукругом сгибались в шутовских и мушкетерских поклонах, сдирали кепченки, делали несусветные реверансы и кричали:

— Приветствуем Всеволода Эмилича! — и замирали «в позах».

Прохожие расступались, огибали, оглядывались. Всеволод Эмильевич всегда останавливался, чуть приподнимал шляпу над патлатой головой, не улыбался:

— Какая нужда? — Строго спрашивал носатый Эмильевич.

И кто-то всегда выставлял один, два или три пальца.

Всеволод Эмильевич иногда говорил: «Не досуг», — а обычно кивал, и двое или трое мальчишек шли за ним — сговаривались, чья очередь, заранее. Над арочным подъездом здания всегда рано начинала светиться вывеска с рубленым шрифтом — «ТЕАТР им. Вс. Эм. МЕЙЕРХОЛЬДА.

Это было его последнее пристанище. Театр его собственного имени. Он проходил не через артистический, а через главный вход. Там с ним здоровались зрители, пришедшие на спектакль. Но тихо, почтительно, иные даже подобострастно и пялили глаза на сопровождавших мальчишек. Мы, голодранцы, чувствовали себя его адъютантами и вышагивали мимо запретительных — «Дети до 16 лет не до…»

Возле билетерши Всеволод Эмильевич говорил:

— Извините, это со мной. Им уже… много!

А дальше был «Лес», «Горе уму» или даже «Дама с камелиями». Это были его последние спектакли, державшиеся в репертуаре.

Зал театра уже редко наполнялся! Стало появляться много свободных мест, начинался официально организованный закат всемирно известной театральной звезды. Так называемый «Революционный Авангард» становился не нужен, появилась потребность в новом официальном классицизме под социалистическим соусом. Мейерхольда уже вовсю шерстили, открыто поносили в газетах, но нас, тверской «развитой шпаны», это как-то не касалось…

Пионервожатая Антонина почти толкнула меня: оказывается объявили приветствие от подшефной школы. Я с трудом удержался на ногах (наверное, она волновалась больше меня и не рассчитала силу толчка). Впереди была ярко освещенная сцена с

многолюдным президиумом. Слева трибуна, прижатая вплотную к ступенькам — уютный, но тесный зальчик радиотеатра, узкие проходы. Передо мной начали расступаться люди, я уже свободно шел. Духоты как не бывало — сплошной кислород! — и только что ветер не дул мне в лицо… Когда взобрался на трибуну, обнаружил, что вот тут-то не мешало бы иметь какой-нибудь ящик из под яблок или просто маленькую старушечью скамеечку. Большие, как черные тыквы, микрофоны оказались выше уровня моей макушки. Слова «Дорогие и заботливые товарищи шефы!» — пришлось повторить два раза. В зале раздался смешок, и какой-то дурак зааплодировал. Тогда я нащупал ногой высокий внутренний борт трибуны и, широко расставив ноги, приподнялся на эти спасительные выступы! Стоял хоть и враскорячку, но микрофоны оказались на уровне глаз. Можно было говорить. Опять зааплодировали… Теперь уже меня подбадривали.

Зал слушал умиленно, сиял общим сиянием — большинство лиц было женских и восторженных. Несколько раз аплодировали, даже смеялись громко. Не нужно вспоминать, о чем я говорил, это не имело никакого значения, важно было, как бодро я говорил… Зал был горд — вот, де, растет племя, уже способное взобраться на трибуну и произнести что-то если не членораздельное, то звучное!.. В массе лиц промелькнуло лицо старшей пионервожатой — как быстро она пробралась вперед, — миловидная, короткостриженная дылда озиралась по сторонам и была так горда, словно эти аплодисменты предназначались ей одной. А может быть, так оно и было. А вот когда я действительно закончил поздравительно-критическое выступление и нащупал ногой первую ступеньку лестницы, ведущую обратно в зал, поверх аплодисментов услышал за спиной властно отчетливый окрик из президиума: «А ну-ка, орел, иди сюда!», — я оглянулся и чуть не загремел со всех ступенек.

В центре президиума, возле графина с водой, сидел сам начальник ГУЛАГа НКВД СССР Матвей Семенович Берман… Смятение, ощущение полного провала, у меня просто отнялись ноги, и я чуть не сел на пол. Но тут кругом было много заботливых рук: подхватили, почти понесли. Что-то сдвигали, уступали свои места, втискивали еще один стул в переуплотненное пространство, и я очутился в центре президиума. Стиснутое множество, и я в самой середине. А рядом справа рыжий Матвей Берман.

Зал ликовал, и в моем воображении промелькнула четырнадцатилетняя Мамлякат Рахимова, которую сам Сталин на съезде колхозников-ударников то ли поднял на руки, то ли поставил прямо на стол, и она его, кажется, облобызала.

«Горе! За что такое наказание?» — я вообще терпеть не мог всяких лобызаний. Было ощущение захлопнувшейся ловушки, нестерпимая сухость в горле. И тут я услышал рядом у самого уха:

— Сиди ровно… Ну-ну, держись, орел! — Дался же ему этот пернатый с загнутым клювом.

Берман, слава Аллаху, не лез с лобызаниями. Не тот дядя. Он налил не из графина, а из отдельно стоящей бутылки полстакана минеральной и поставил передо мной. Я выпил залпом.

— Вот так, молодец, — одобрил он мою решительность. — Хорошо, хорошо, говорил.

На трибуну уже взгромоздилась ораторша, но я не мог разобрать, о чем она говорила, хоть кричала она так, словно выступала в обществе безнадежно глухих.

Я постепенно приходил в себя.

— Отца выпустили? — Очень тихо спросил Берман. Я покачал головой, мол, «нет».

— Ничего. Скоро выпустят, — пообещал Берман, будто что-то знал наперед, и спросил: — А в школе знают?

— Нет.

— Правильно. Не говори, — выходило, будто в президиуме два субъекта из одной компашки обмениваются кодовыми репликами. — А в комсомол?

И тут я мотнул головой, мол, «нет и нет».

— Зря, — хоть и тихо, но решительно произнес он.

— Подавай. Пока суд да дело — отца выпустят.

— А не…

— Подавай, ни с кем не советуйся, — произнес он. — Про отца ни слова…

«Ну и ну… это уж вовсе ни в какие ворота. Но не возражать же ему прямо здесь. Ведь Берман — это Берман. Я все еще полагал, что врать не то что при вступлении в комсомол, но и в обыденности вовсе не обязательно. Даже постыдно — несмотря на то, что все кругом врали напропалую… Может, никому ничего не говорить. Можно не касаться этой темы — и так все всё знают или догадываются… Но врать?!»

— Никуда не уходи. После нее буду выступать я. А потом мы с тобой еще… Сиди, жди.

Кажется, я уже пришел в себя и спросил:

— А вы здесь кто? — Опять этот дурацкий вопрос.

— Вот теперь нарком, — чуть поморщился Берман. И только тут я увидел, что на гимнастерке нет петлиц и ромбов нет. Один орден «Красного Знамени» остался. Берман выглядел довольно бодро, время от времени кому-то улыбался широкой ободряющей

улыбкой вождя, такая улыбка уже прочно вошла в моду. Но ведь не один Берман знал что-то, и остальные тоже кое-что знали. Знал и я, что к этому времени должность Народного комиссара связи стала должностью пересадочной — отсюда никто еще не ушел на повышение, отсюда все по очереди уходили или на скамью подсудимых — «на процесс», или в небытие. И все аплодирующие и кричащие в этом зале тоже знали — три-четыре месяца Нарком — и тю-тю. Многие уже многое знали наперед, но были словно загипнотизированные… Мне и по сей день кажется, что про себя самого Берман не знал ничего, даже не чувствовал. Иначе вел бы себя как-то по-другому. Нет!

Ничего он про себя не понимал. И не знал. Ближайшие события это доказали.

Нарком стоял на трибуне и говорил: уверенно, по-кировски выбрасывал раскрытую ладонь в зал, говорил не по бумажке, в ораторской манере, вроде бы широко охватывая весь зал. Он шутил, — смеялись, — предлагал ввести плату за телеграфные бланки. Чтобы люди бережнее относились к государственному имуществу, даже если это линованная бумажка. Зал единодушно аплодировал. «Как это раньше никому в голову не пришла такая значительная мысль? Драть с каждого по две копейки за листочек… А ведь и вправду, как здорово, сначала думать будут, а потом писать свои телеграммы. А то ведь — сначала пишут, а потом думают…»

Он вернулся в президиум всклокоченный, возбужденный — была вроде бы овация и всеобщий восторг. Но какие-то не вполне настоящие. Выкрики отдельные раздались: «Да здравствует…», но без общего вставания… Берман сразу как-то сник и стал рассеян. Потом еще немного поговорил со мной, но уже напоказ, для окружающих. Вожатой Антонине велел беречь таких «орлов» и пестовать… Поблагодарил ее — она чуть не взвилась под потолок от счастья и дербалызнула меня ладонью по плечу, довольно больно… А меня охватила тревога и скулящий озноб, теперь уже за папу. Все происходящее показалось шатким, ненадежным, ускользающим.

— На концерт оставайся… Хороший будет… Если что, дай о себе знать — туманно проговорил Берман, но мне показалось, что мы попрощались навсегда. Лицом он резко изменился, взгляд ушел куда-то вдаль. Берман двинулся к выходу. Его сопровождала целая свита… И мне показалось, что его излишне выпрямленная спина демонстративно указывает на то, что ее владелец уходит вообще в туманную неизвестность. И свита туда же…

Видно, вся совокупность ИТЛов — лагерей всех степеней, градаций и строгостей, в устройство которых и становление он

вложил столько сил, организаторского пыла, выдумки, если хотите, дьявольской изобретательности, — по размаху и территории еще одна Евро-Азия… Видно этот новый континент почти сразу стал приобретать и возымел особые магические свойства — начал притягивать к себе, а там и засасывать, своих собственных созидателей, своих архитекторов, владык и даже рядовых охранников…

Каждому свои подмостки, каждому своя роль, каждому свой зритель. Вот вам и театр всеобщего кошмара.

## *Глава третья*

## *МАСКАРАДНАЯ*

Все, что в дальнейшем произошло, я узнал много позднее. Собственно, детали узнал позднее, а суть была на виду сразу. Матвей Берман не долго пробыл на посту Народного Комиссара Связи. И его — о, чудо! — бывает же и такое… — отозвали и снова назначили заместителем нового наркома, снова начальником ГУЛАГа НКВД СССР. И задачи поставили совсем новые, доселе невиданные, и перспективы расширили, и штаты… Да и Нар-комвнудел уже был обновленный.

Кругом все ахнули, усомнились поначалу, не поверили, а Берман и глазом не моргнул — знал, что без него в таком сложном, многогранном и запутанном хозяйстве не обойтись. Неугомонный Матвей опять влетел в лагерную преисподнюю, да не куда-нибудь, а на самый верх! Первое, что он сделал, это стал собирать своих прокаленных чекистов, тех, на кого можно было бы положиться, как на самого себя. Так он сам говорил.

Разумеется, из тех, что уцелели, кое-кого пришлось выцарапывать из самых дальних лагерей и загонов, где они уже сидели, как заядлые враги народа, а кое-кого и помянуть молча следовало — отлетели, пущенные в расход. Не ныл, не жаловался. Работал круглосуточно и сотрудникам спуску не давал. Ведь с одной стороны, за эти месяцы личный состав изрядно поубавился, с другой — сильно увеличился (в три-четыре раза). Ну, а все гулаговское хозяйство, вся громадина эта разрослась непомерно. Это всего за несколько месяцев его отсутствия. Забот — «полна пазуха и рот»! Но у большевиков нет ничего невыполнимого: «Любое задание Родины и лично Ваше, товарищ Сталин…»

Но не так уж и долго пробыл энергичный и решительный Матвей в этой должности. Оглянуться не успел толком и десятой доли своих государственных замыслов не осуществил…

Подкатил семейный праздник у друга и соратника — Петровича Петра Александровича. Того самого, что был начальником Вяземлага и дотягивал, достраивал со своими упорными зеками всю автостраду от Москвы аж до самого Минска. Накатил, навалился день рождения дражайшей половины. Жена — это вам не хухры-мухры. А день тот был 15 сентября одна тысяча девятьсот тридцать седьмого года. Место действия — знаменитейший доходный дом в Гнездниковском (переулок прямо против Елисеевского гастронома на Тверской). Там в полуподвале цыганский театр «РОМЭН» находился… Надо было отметить как следует — уж больно тревожное и трепетное время накатилось — и воспользоваться случаем, укрепить ряды уцелевших ветеранов, вдохнуть в них новые силы, тряхнуть стариной, подтянуться, а может, и к грядущему подготовиться… Чудаки — разве к нашему грядущему можно подготовиться? На то оно и грядет — не только набегает, а ударяет внезапно! Дрожь была, но верили, что ему, Матвею, вот-вот снова, несмотря ни на что удастся отковать или точнее возродить новый, невиданный доселе, непрошибаемый монолит — ГУЛАГ № 2.

Похлеще первого. Во Всесоюзном масштабе — прообраз всемирного… А в личном плане поскромнее — день рождения. Женщины, конечно, придумали: женсовет — мощнейшая сила! Было решено устроить ни больше ни меньше как Маскарад. Высокий бельэтаж, размеры старой, с дореволюционным размахом, квартиры с высоченными потолками позволяли. Откуда что берется? Это же надо — изобретательность такую возыметь: в дни повальных обысков, арестов и расстрелов — запузырить домашний маскарад!..

Предполагалось, гостей и хозяев тринадцать пар — все чины с женами, надежные, прожженные в деле годами и невиданными напрягами — невыполнимое выполнялось, свершалось несвершаемое. Какой ценой — друг друга не спрашивали.

Только Берман появился без жены.

Какое-то нехорошее предчувствие в Матвее Семеновиче сидело засадою и не давало покоя — буравило. Он даже хозяину квартиры как-то намекнул об этом, приоткрылся. Но закадычный Петрович начисто отмел всякие наводки на какие бы то ни было предчувствия. А большинство гостей отнесли смурость Бермана на счет его неурядиц с дочерью и женушкой.

Маскарадные костюмы были заранее отобраны с учетом вкусов, должностей и размеров. Тут жены потрудились на славу — задействовали не только ГОСТЕАТРКОСТЮМ, но и специальное хранилище, и лучших консультантов из сугубо театральных авторитетов. Но в последний момент выяснилось, что Берман

переодеваться не станет. Чем сильно озаботил хозяина торжества. В знак солидарности Петрович тоже переодеваться отказался. Маскарад вот-вот мог пойти под откос…

У Бермана действительно было не просто плохое настроение, — с этим злом он всегда управлялся, — а некая давящая сумеречность. На него все это было мало похоже, а пуще того, он никак не мог этого наваждения скрыть.

Так вот, гулаговский демократизм победил: остальным мужчинам просто приказали — «Переодеваться! И никаких разговоров!» На том все согласились. Женщины сразу воспрянули, мужья встряхнулись — ожили. Все стали облачаться — расфуфырились, намалевались. И началось!.. Встал дым коромыслом. Гуляли на славу, а веселились вразнос — без всякого удержу.

Давно так не куролесили. Стол был уставлен яствами (где только такое подоставали?). Напитков — не перечесть. Женщин под масками, да в таких нарядах, можно было принять за кого угодно, только чуть фантазии и если, конечно, не слышать особо наработанных модуляций в голосе и не вникать в смысл оборотов речи. Не только заботы, но и дурные предчувствия ухнули и разлетелись. Многие эпохи потрудились на благо и веселье этого семейного торжества — пили легко и много, танцевали все, кто умел и не умел, куролесили чадно и не стеснялись, даже песни пели — махнули рукой на то, что прямо над ними была квартира Аллилуева, брата покойной жены Сталина — какой там покойной, убиенной… Это-то уж знали. Но тут — нишкни! Ни оха, ни вздоха… «Гуляй, лубяные забубённые!.. Грех в мех, да в мешок… да под лавку».

Во втором часу ночи, в самый разгар веселья, позвонил работник родного наркомата — поздравил, извинился за поздний звонок, спросил, как идет веселье? И попросил разрешения спуститься к ним с подарком и небольшим сюрпризом (он жил в этом же подъезде, несколькими этажами выше).

— Возражений нет?..

— Какие могут быть возражения?! Свой и, как говорится, свежая кровь в компании. Способствует раскату веселья.

— Да еще с подарком и сюрпризом!

— Нашел, кому сюрпризы делать, мы, брат, и сами умеем…

— Ну веселись!.. Даже Матвей раскочегарился… Но сосед-сослуживец почему-то вошел в квартиру не один, а с четырнадцатью вооруженными. Ворвались, да еще с двумя понятыми. Да так стремительно и воинственно, словно были готовы к бешеному вооруженному сопротивлению. Протрезвели мигом — и гости, и хозяева. А дамы, как плюхнулись, где кого

застало, так и окаменели. Только одна дамочка — жена оперода (начальника оперативного отдела), большая общественница и затейница (это она маскарад придумала и немало потрудилась над его осуществлением) — при вторжении взвизгнула:

— Ой! Да они нас разыгрывают! Константин, перестань!.. — Узнала Костю, начальника группы.

Но тут с ее париком произошло что-то такое, после чего она уж и слова произнести не могла… «Вот те и Костя…» Боевых подруг смяли и разогнали по углам, сильно повредив маскарадные костюмы, прически, маски и даже грим; мужчин попросили не двигаться, во избежание… И сдать оружие! (Кое у кого под замысловатыми костюмами оказалось.) А Бермана и Петровича сразу оттеснили и уволокли в соседнюю комнату. Пять часов продолжался обыск. И шелохнуться не давали… Начало светать. Женщины еле держались, даже не на ногах, а на стульях — в уборную выходить не разрешили никому.

«Знаем мы эти клозеты-мазеты! — Говорили вежливо и с достоинством. — Ты в уборную по-маленькому, а мне отвечать по-большому?..»

— Откуда такая жестокость? Ах!

«СО» — всем отделам отдел. Оказалось, прошлой ночью пришли брать начальника «Секретного Особого». Обыскивали. Вот так же попросился в уборную. Работали не лопухи — осмотрели, прощупали, в бачек заглянули: глухое замкнутое пространство специального назначения. Шестой этаж. «Не святой же дух, не улетит по вентиляционному ходу», — пошутил ответственный работник, руководитель обыска и ареста.

Начальник «СО» направился по коридору, охранник за ним, вдруг от самой двери злополучной тот резко повернул направо и быстро прошел в кухню — окно там было распахнуто — на долю секунды даже не приостановился, перемахнул через подоконник и улетел вглубь черного двора. Вот тебе и «Не святой дух!» Оказывается, последние две-три недели начальник держал окно раскрытым круглые сутки.

— Не даром же он был «СО»! А не жопа с ручкой, — завершила рассказчица с завидной горделивостью.

Потом хозяина квартиры и Матвея Бермана увели.

Конвой ополовинился, тогда молодцеватый Константин, человек без возраста, всего с двумя шпалами в петлицах, сказал так называемым гостям:

— Разойтись. По домам! — это прозвучало непререкаемо. И чтоб не завернуть куда-нибудь. Ни под каким видом! — А потом еще добавил: — Надеюсь, здесь все грамотные?

Гостей как паводком смыло.

Недели через три Матвея Бермана и Петровича расстреляли. Пришел их черед. Все! Каково-то было ему, уверенному в себе и государственном устройстве, преисполненному никому не ведомой ясности и самых радужных надежд, хозяину новой жизни и властителю замурованных миллионов жизней становиться лицом к стенке, почувствовать дуло пистолета на своем круглом затылке? Впрочем, наверное, так же, как и любому другому смертному…

# Родные акулы

Люди любят слушать или читать о курьёзах и разных весёлых неурядицах на киносъемках, и никто не хочет знать о страшных, а порой и драматических событиях, связанных с этой профессией. Но, пожалуйста, не беспокойтесь, я расскажу уж если не весёлую, то не слишком грустную историю.

Однажды, когда мы снимали фильм и работа подходила к концу, нам осталось доснять сущий пустяк — акул, нападающих на нашего героя! Уже был ноябрь месяц, и в Москве наступили холода. Мы арендовали один из крупнейших в то время плавательных бассейнов, установили в воде нужные нам декорации, сформировали рабочую команду, состоящую из мастеров подводного плавания, и дело стало за малым — я, как руководитель группы, должен был за два дня научиться плавать под водой с аквалангом. Пришлось сообщить тренеру, что плавать под водой мне научиться ничего не стоит, что я пойду на дно сразу, без длительных тренировок, по той причине, что я не умею плавать вообще.

Это обстоятельство, может быть, и огорчило тренера, но не настолько, чтобы он отказался от задуманного. На меня надели снаряжение, объяснили, как им пользоваться, и помогли погрузиться в довольно холодную воду.

Первые часы тренировок прошли на редкость удачно. Я даже начал согреваться. Потом пошёл на дно, полежал там немного, свободно вздохнул ну, настолько свободно, насколько это можно сделать на дне бассейна… Присутствующие меня подбадривали и даже хвалили.

На другой день, в самом начале тренировки, когда все были убеждены, что руководитель полностью овладел подводным плаванием, я внезапно (даже для самого себя) утонул.

Не хочу, чтобы вы подумали, что я шлю Вам эти строки со дна бассейна — я захлебнулся, начал тонуть, и вскоре был вынут из воды двумя наиболее заслуженными мастерами спорта. При этом надо заметить, что даже большие мастера иногда делают маленькие ошибки — они волокли меня по поверхности воды… лицом вниз. Я смутно видел дно, но не видел неба. Я мог глотать только сильно хлорированную воду, а мне, как воздух, нужен был обыкновенный кислород… Вынули меня из воды с некоторыми трудностями (их мы пропустим, они к сути дела никакого отношения не имеют)… Эта неурядица, может быть, и огорчила тренера, но не настолько, чтобы заставить его отказаться от задуманного. Тренер сообщил мне, что в происшествии я не

виновен, так как по ошибке мне дали акваланг с незаряженными баллонами, а следуя великой спортивной и цирковой традиции, мне надо немедленно повторить эксперимент, чтобы не потерять веру в себя, веру в подводный спорт и, разумеется, во всепобеждающую силу киноискусства!

Аргументы были сильнее страха и убедительнее, чем отвращение к хлорированной воде. Я снова обреченно пошёл ко дну и вскоре нащупал ту веру в себя, которую чуть было не утерял навеки; вера же в подводный спорт и его надёжность почему-то не возвращались, а безграничная любовь к кинематографу была неколебима даже на дне бассейна.

Те, кто позднее видели этот фильм, знают, что мелкие неприятности остались за кадром, а акулы благополучно расправились с нашим героем.

Кстати об акулах: когда их подвезли к бассейну на грузовой машине и откинули борт, акулы (искусно сделанные каучуковые муляжи в натуральную величину) таращили глаза, сверкали зубами. Казалось даже, что они дрожат от холода, а на самом деле они дрожали от колебаний, образуемых проходящим мимо транспортом.

У бассейна предстояла разгрузка акул и торжественное внесение их на территорию.

Конечно, собралась группа любопытных из прохожих. Один из них вежливо спросил нашего бригадира осветителей, парня спокойного и невозмутимого:

— Скажите, пожалуйста, это живые акулы?

— А кто это станет перевозить дохлых акул?! — не моргнув глазом, ответил бригадир.

— Простите, а зачем живые акулы в плавательном бассейне?

— Очень просто, — небрежно пояснил бригадир, — в последнее время наши пловцы на международных соревнованиях показывают недостаточно хорошее время. Открыли новый способ тренировки: прыгают в воду пловцы, а за ними выпускают акулу — скорость проплыва увеличивается в среднем на 11 %, а в отдельных случаях достигает девятнадцати!

— Не может быть?! — искренне удивился любознательный.

— Да-да, — со вздохом подтвердил бригадир, грустно глядя в холодные глаза акулы, — чем трусливее пловец, тем выше процент прироста скорости. Таким образом трусы обгоняют смельчаков. И если акулы в ближайшее время не сожрут лучших пловцов, то большинство мировых рекордов будут наши.

**Дополнение: О СМЕЛЬЧАКАХ.**

— Кто такой смельчак? — Это тип, способный скрыть от окружающих свою трусость.

— А герой? — Это тот, кто умудрился сделать то же самое, но при этом ни одна живая душа о его трусости даже заподозрить не смогла, а все проявления её и тяжёлые последствия принял на себя непредусмотрительный враг.

Подумать только, сколько героических поступков совершено из-за беззаветной трусости.

Всякий раз, когда мне удавалось в воинском деле побороть, хоть частично, трусость — меня награждали. Ну, разумеется, при условии, что поблизости были свидетели, способные разболтать обо всём увиденном с преувеличениями. А ведь подлинно и безоговорочно смелые поступки чаще всего совершаются без свидетелей, или вернее — все свидетели больше не существуют — давать показания некому, и поступки остаются без сияющих последствий — покоятся на дне омута собственной памяти.

Всякий раз, как только мне удавалось (само собой, по глупости), главным образом во взаимоотношениях с всемогущим начальством, проявить настоящую смелость — меня жестоко наказывали. А иногда даже аннулировали представление к боевым наградам — бой, где ты отличился, уже далеко позади, а властолюбивый начальник всегда здесь, рядом — торчит перед глазами. И ты торчишь у него перед глазами…

Один из знаменитых французских генералов наполеоновской армии не только не скрывал своей патологической трусости, но ещё и постоянно рассказывал о ней. Во время артиллерийской подготовки противника на него нападал колотун, тряслись все поджилки — ему больше ничего не оставалось, как… Он вылезал на бруствер боевого укрепления, под градом пуль, осколков выхватывал саблю из ножен и кричал так, что было слышно врагу:

— А-а-а-а! Дрожишь, проклятый скелет?! Ну, дрожи — дрожи!! То-то сейчас с тобой будет!.. Смотри! — он бросался вперед на врага, а его офицеры и солдаты вынуждены были ринуться вслед за ним, разумеется, опережая своего генерала.

Победа играла на их знаменах. Они кричали:

— Виват!!

Между прочим, у этого генерала наград было больше, чем у всех других наихрабрейших.

# Угрюмый кудесник

Это не так просто. Тут есть кое-какие загогулины…

Когда мы активно начали пробивать идею создания фильма «Последний дюйм», нас сразу решили огорошить вопросом «в лоб»:

— Где это вы возьмете акул?

У нас любят — «в лоб» и «наповал». Но не тут-то было, мы уже были готовы к любому обороту дела, самому убийственному. Например:

— А почему игровая лента должна сниматься на студии научно-популярных фильмов? Какой резон?

Ответ:

— Очень просто — мы хотим в игровой увлекательной форме показать всё разнообразие подводного океанического мира! А заодно затронуть второстепенную тему взаимоотношений акулы и человека. Разумеется, акулы капитализма и Человека-труженика — объект эксплуатации… — в заявке так прямо и было написано. Очень важно было вовремя прикинуться идиотом, притом — непроходимым.

Реплика:

— Ах, в этом смысле?

С нами сразу согласились — ещё бы, заманчиво погромить идейного противника да ещё — в «художественной, завуалированной форме».

А на самом деле, мы пригорюнились и стали размышлять: «Действительно, где мы возьмём акул?

Мы — это Никита Курихин и я, автор сих воспоминаний.

Где, где мы возьмем на территории СССР и прилегающих водных пространствах живых, настоящих, действующих акул? И не мелюзгу какую-нибудь, и не акулообразных рыбёшек, а опасных, зубастых хищников, способных управиться с нашим героем-летчиком?..

Пришлось вспомнить… Окончание Института Кинематографии совпало со смертью Великого Вождя Всех Времен и Народов И.В. Сталина, что безмерно опечалило большую часть советского народа и несказанно обрадовало его ничтожно малую, но не менее значительную часть. Это, с одной стороны. А с другой — следствие по делу врачей-убийц, которые никогда никого не убивали, и врачей-отравителей, которые никого из руководителей партии, правительства и армии никогда не травили, — следствие прекращено не было!

Я оказался того же роду-племени, что и большинство врачей-

убийц тире отравителей, а посему мне работу в кинематографе предоставить категорически отказались. Загрустилось, и по старой фронтовой привычке стал я подумывать, кого бы из моих благодетелей укокошить в знак безграничной благодарности за постоянную заботу… Но тут дело врачей (уже не убийц и не отравителей) стало заметно хиреть и по некоторым признакам стремительно загибалось: расстреляли нескольких высших руководителей НКВД, следователей по особо важным делам, исполнявших это громкое задание, и отняли орден Ленина у главной свидетельницы обвинения, затрапезной сотрудницы медицинской спецполиклиники.

Так получилось, что несмотря на полный запрет предоставить работу, меня внезапно приняли на скромную должность ассистента режиссера по картине «Ядовитые змеи» — киностудия Научно-популярных фильмов, город Москва. Приняли с зароком: «режиссерша ничегошеньки сама сделать не может — всё должен делать ты, и с тебя же спрос. А там видно будет — может быть, и возьмём в штат режиссером».

Я начал с того, что прочел сценарий и обнаружил, что по ходу действия ядовитейшая змея — индийская или китайская кобра кусает героя-герпетолога (специалиста по ползучим гадам), и ему оказывают первую, а может быть, и последнюю помощь!.. Пришлось спросить режиссершу, которая была женой известного литератора, автора этого сценария:

— Как будем снимать кадры ядовитых укусов?

Дамочка, не задумываясь, ответила:

— Наймём дублёра. Не станем же мы подвергать жизнь актёра такой опасности?

Больше у меня к ней вопросов не было. Ну просто добрейшая, легкомысленная женщина, никакая не садистка, по недомыслию решила пожертвовать дублёром, так как его было не так жалко, как молодого, талантливого актёра: «Искусство ведь требует жертв!» Только постановщица никак не могла решить, в какое место эта злосчастная змея укусит персонажа.

Немедленно приступил к поиску персоны, способной сделать протез руки или ноги — пусть уж лучше настоящая, живая кобра искусает искусственную руку или ногу, чем несчастного дублёра…

Через несколько дней ко мне в каморку, выгороженную из комнатки режиссера, просунулся мрачный, худой, даже изможденный, лохматый тип в сильно поношенном, очень длинном пальто. Лицо у него было серо-пепельного цвета, изборождено множеством вертикальных морщин — мне показалось, что он только что выбрался прямо из успешно

проведённой немецко-фашистской акции по полному и окончательному решению еврейского вопроса. За его спиной мелькнуло лицо художника из цеха подготовки — и тут же исчезло.

— Это вам нужны г'руки-ноги? — спросил отрешённый страдалец, забыв поздороваться.

Я внимательно рассмотрел его и ответил:

— Мне.

— Ну так говог'рите… — тихо, крайне безразлично произнес гость, глаза его были прикрыты, он не смотрел на меня, но картавил при этом не слегка, а классически.

— Может быть, присядете и назовете свое имя-отчество?

— Садиться не буду. Имя-отчество вам незачем. Вот фамилия… Какие руки, какие ноги и для чего? — Его акцент и небрежение к собеседнику говорили о том, что хлебнул он на своём веку немало и ничего хорошего от меня тоже не ждёт.

Я стал объяснять, какая рука (левая) нам нужна и какая нога (правая) в натуральную величину, максимально похожая на настоящую, сильно загорелую:

— Ну, это вы сами намажете, — заметил гость.

— И не гладенькую, а экспедиционную, побывавшую в переделках…

— Г'размер? — буркнул тот.

Я ответил, он записал огрызком карандаша на маленьком клочке бумаги.

— Г'рука его же?

— Разумеется.

— Почему г'разумеется? — он опять записал. — А сколько лет вашему герпетологу? — Я ответил. — А его лицо, фигуру показать можете?

— Зачем лицо? — я уже начал говорить, как он.

— Надо.

— А не могли бы вы сделать так, чтобы в момент укуса рука чуть дёрнулась? Вот так — судорожно?

— Сделаем. «Судорожно!» — и записал одно слово.

Я взглянул: «судорожно» — к моему удивлению вместо каракулей обнаружил красивый ровный почерк. Представьте себе — почерк произвел впечатление.

— Когда надо? — спросил он.

— Дней двадцать хватит? — робко спросил я.

Киевский институт кибернетики и автоматики просил только на разработку два месяца и месяц на изготовление. Указал предварительную стоимость: «25 тысяч рублей за каждый объект». Я послал Киевский институт к кибернематике и ещё дальше…

— Двадцать дней хватит, — отозвался еврей без имени и отчества.

— Будем заключать договор?

— Не надо. Но чег'рез двадцать дней деньги сг'разу. Без ваших авансов.

— А на материалы и задаток?

— Нет. Но условие. Весь матег'риал, пластик, после ваших «съёмки», вернуть мне — до грамма. Можете ломать, резать, плющить — но вег'рнуть. Мне надо.

— Согласен. Дать расписку?

— Нет. Вы порядочный человек? Отвечаете? Я понял, с кем имею дело:

— Отвечаю.

— Значит. На двадцатый день заказываете пг'опуск. Тут у вас цег'рберы не хуже чем… — он сделал уничижительный жест.

Не стоило труда догадаться, каких церберов он имел в виду.

— Для пг'опуска: Исаак Изг'раилевич Иткинд, — сказал гость.

Тут я назвал себя полным титулом и добавил:

— Рад был познакомиться.

— Ну, не думаю, — прошелестел гость. И ушел.

День в день, на двадцатые сутки после нашей встречи, он стоял передо мной — выглядел точно так же, как и при первой встрече, но слева и справа подмышками были зажаты два вытянутые фанерные ящичка. Он раскрыл обе крышки — там лежали левая рука и правая нога нашего будущего героя. Я обомлел от счастья! И что-то высказал. Он вынул руку-муляж из футляра, ухватился за деревянную круглую палочку, привязанную к крепкому скрученному шнурку и легко потянул — кисть руки судорожно дёрнулась. Я ещё раз восхитился, а он тем временем поставил муляж ноги на письменный стол и сказал:

— Теперь вы. Дёг'рните, — его длинный указательный палец уткнулся в плохо оструганную палочку.

— Не бойтесь, дёг'рните.

Я выполнил указание: нога — не только пальцы, но и вся икроножная мышца — судорожно сократилась. Это было уже художественное исполнение отдельной конечностью «роли укушенного» Такого и ожидать было нельзя… Его «рука» и «нога» были моей первой кинематографической победой. Я своего восторга не скрывал.

Он снисходительно прошелестел:

— Идите в бухгалтерию и сделайте так: по тысяче за каждый объект. Мне — по тысяче. Эти вычеты пусть оставят себе. Но прямо сейчас.

У-у-у! Он знал, что Киев запросил по «двадцать пять», ему кто-то сказал, в кино секретов нет! — помните: «двадцать пять тысяч за каждый объект». Его глаза чуть посмеивались, он был гордый настоящий мастер.

— Только чуг'р, деньги не мелочью! И весь пластик вег'рнуть — до г'рам-ма.

— Клянусь! — сказал я и поднял его «левую» и свою правую руку.

Этот жест ему понравился.

— Всё? — спросил он.

Дело было вовсе не в том, что Мастер сильно картавил и слова произносил по-местечковому нараспев, а в том, с каким безразличием он всё это проделывал — вовсе не заботясь о том, как к этому отнесётся собеседник.

Я знал, что научно-популярное кино вовсе не искусство, это род кинематографической деятельности, оно оперирует логическими, научными, поучительными, даже наставительными категориями — у него нет времени, возможности, способа оперировать образами, разве что подобием… А тут — одна рука, одна нога, и образ готов: по такой «руке-ноге» можно судить о человеке целиком. «Да он художник, скульптор, маэстро. Так, наверное, писали, лепили Буонаротти, Леонардо… Вот это трюк!..»

Я достаточно подробно рассказал о мастере для того, чтобы вы сразу догадались, о ком я вспомнил, когда пришлось отвечать на вопрос: «Откуда вы возьмёте настоящих акул?».

Живых нам снимет в Красном море знаменитый капитан Кусто — мы с ним оказались побратимами на VI Всемирном фестивале Молодёжи и Студентов в Москве. Они и мы разделили Первое место и Золото: он за «Мир тишины», мы за «Старт в стратосфере» — ему отдали и диплом и Золотую медаль, а нам заказали дубликаты. Ив Кусто любезно согласился на нашу просьбу, но ведь с теми, живыми акулами нашего героя не снимешь… Надо было срочно отыскать в Москве этого чудо-мастера, замечательного еврея. И уговорить его — согласится ли?.. Ведь он «штучка с ручкой», что захочет, то и отчубучит… Когда после столь благополучно выполненного заказа в бухгалтерии сказали, что он может придти за деньгами в четверг на следующей неделе, он молча взял подмышки оба ящичка и направился к выходу. Я понял, что мы его больше не увидим никогда… Поорали-покричали-поуговаривали, но деньги, все сполна, он получил в этот же день, только часом позже. И удалился без трогательного прощания.

Когда его привезли в Питер на «ЛЕНФИЛЬМ», и он степенно

вошел…

Это был уже большой кабинет режиссера-постановщика с эркером и роялем!

Нас было двое, он один. И все в том же ужасающе длинном пальто, тот же усталый, безразличный взгляд:

— Ну, что теперь? — спросил он, как ни в чем ни бывало, как будто он только вышел за дверь и тут же вернулся.

На крышке рояля были разложены все разработки и множество фотографий. Ещё на научпопе мы с Никитой привыкли трудиться добросовестно и научно обоснованно: акулы всех видов и почти всех морей и океанов, с описанием размеров, расцветок, привычек и повадок… Он на всё это взглянул мельком, спросил:

— И какая?

Я ответил:

— Вот хотели с вами посоветоваться…

— Зачем?.. Вы уже посоветовались в Киеве?.. Сколько?..

У меня похолодело в животе. Киевский институт кибернематики запросил за радиоуправляемую двухметровую акулу сто семьдесят пять тысяч, а у нас на весь фильм было триста сорок!.. Я ему ничего не ответил, и он понял моё молчание.

— Так какая? И р'азмеры… р'азмеры?

— Вы будете здесь ночевать? Гостиницу вам приготовили…

— Нет. Сегодня ноль-ноль уеду.

— А чего торопитесь?

— Так…

Мы начали работу и вскоре согласились на том, что будут изготовлено три акулы: первая — два двадцать, вторая — метр пятьдесят, третья — метр ровно. Мы, все трое, не знали, как они поведут себя в воде, какая подвижность будет возможна — мы подстраховывались… Отдали ему все фотографии, подарили красивую папку — у него в руках вообще ничего не было.

— Никаких моторов-шмоторов, — сказал он на прощание. — Вот, во р'ту, здесь, будет кольцо — цепляете тонкую капроновую леску и тащите… Кто шустр'ее, у того будет побыстр'ее…

— А тонуть не будет?

— Не будет.

— Как думаете, извиваться хоть немного сможет? — я понемногу наглел.

— Что я ненормальный, чтобы делать АКУЛУ без «извиваться»? — и показал всей рукой, очень выразительно, как она должна плыть.

— Когда? — спросил он.

Я ответил.

— Два месяца — десять дней?.. Не густо, — посуровел. — Ладно. Забер'ёте вы — ваши люди. И ложе делаете вы — ваши люди… Я нар'исую, проставлю за-мер'ы. Гр'узовик ваш. Тащишки ваши. Телефон, адр'ес помощник знает.

— Теперь сколько?..

Он меня перебил:

— Три, две и одна, — всего шесть, — небрежно произнёс он.

— Мало. Получите восемь! — довольно грубо сказал я, грубо от неловкости.

Он долго, проницательно смотрел на меня, потом что-то тихо пробурчал, одно слово — возможно, это было «спасибо». На всякий случай я сказал:

— Это вам большое спасибо — второй раз выручаете.

— А что делать? — сказал мастер. — Дайте немного сейчас. Материал потребуется. Много…

На том мы и расстались.

По правде говоря, ведь я забыл… Стыд и позор! Забыл его исконно еврейские, уходящие в библейскую древность, имя, отчество и фамилию. Притворился, что помню. А на самом деле выдумал — по какой-то еле уловимой аналогии, намёку, похожести. Зато он сам, собственной персоной, засел в моей памяти, как защемило, прочно и навсегда: высоко и незыблемо, как память о пророках: потому что он «всё мог» — и при этом талантливо — он был уникум среди лучших мастеров… Где-то, когда-то смертельно оскорблённый людьми и страной, закрытый наглухо и навсегда хмурый, почти без просветлений — тяжелая судьба. Он ещё успел и отсидеть в каких-то наших лагерях, года три с половиной-четыре… Для него деньги всегда были на втором месте. На первом — всегда было призвание и признание. Восторг перед результатом труда, перед простотой выдуманной им конструкции или удивительно совершенным исполнением. И уважительное отношение к личности. Обязательно…

Я люблю рассказывать о нём… и показывать его. Люблю. Мои близкие утверждают, что всякий рассказ о нём я совершаю чуть по-другому, несколько фантазирую, что-то прибавляю… Обвиняют. Нет, я просто каждый раз вспоминаю новые подробности, или по ходу рассказа сами проявляются новые догадки. А что, разве нельзя? Разве это грех?.. Один замечательный московский преферансист, литератор и сценарист, сиильно заикаясь сказал: «Э-э-э, е-е-э-сли бы вы м-м-о-о-огли на-на-писать так, к-а-ак расс-ка-а-зываете — это был бы ве-е-елико-лепный расс-ка-а-а-з»…

— А так вам чего-то не хватает? — спросил я, вспомнив сразу холодный прищур Мастера.

— Хва-а-а-тает… за-за-за-впечатляющий рассказ…

Нет. Так, как рассказываю и при этом показываю, так я наверняка написать не смогу… Это другой жанр. Поэтому я и не пишу. Я его как бы рассказываю. Вам.

Распрощался с Питером без вздохов и слёз — уж больно сильную охоту они там на меня открыли. Вернулся в Москву. «Обстоятельства завели меня на Лесную улицу» — как говаривали и писали знатные писатели. Дошел до того места, где была старая клетушечная киностудия — она и теперь торчала из-за забора огрызком. Меня пропустили… В тесном дворике стояла предотъездная суета (переезжали в Химки, там достраивали громадную киностудию, оборудованную по последнему слову техники.

«По предпоследнему», потому что строили её свыше пятнадцати лет и всё оборудование малость поприувяло, постарело… В тесном, развороченном цехе подготовки нашел Ефима, того художника-постановщика, который когда-то отыскал Мастера и привёл его ко мне — ещё на картине «Ядовитые змеи». Мы были обоюдно рады встрече. Я сразу спросил об этом удивительном еврее.

— Ну, как же, конечно знаю. Имя — отчество — фамилия, вот адрес, телефон, — он раскрыл потрёпанную толстенную записную книжку. — Только он умер…

— Вот как?..

— Тогда же. Сразу после завершения вашего акульего заказа. Он заканчивал его уже совсем больной. Я его навещал — он спросил про вас, про фильм. Но я тогда ещё не успел посмотреть, или фильм ещё не вышел на экраны?.. Знатный был мастер. Больше таких нет. И ваших акул сделал по высокому классу, хоть выпускай в океан. Родственники, знакомые сбежались смотреть. Все ахали. И я в том числе.

— Вот нелепость, я его даже в титры фильма не поставил. Фирму «Рекенассосье», капитана Кусто обозначил, а его нет.

— Да ведь у нас вечная борьба за сокращение длины титров, — постарался успокоить меня художник.

— Вы знаете, где он похоронен?

— Конечно. Я ведь был на его похоронах. Людей собралось совсем мало — человек восемь-девять… — и Ефим на клочке бумаги, огрызком карандаша, наспех записал название кладбища, приблизительный адрес, как проехать, участок и номер могилы…

…Распрощался, бросил все дела, взял такси и поехал на кладбище.

При входе купил цветы, побродил по аллеям, нашел участок, мне помогли найти могилу — запущенная, неухоженная…

Постоял, подумал о нём:

«Пусть Мастер простит, ведь я забыл его имя, отчество, фамилию… Не поставил в титры… Придумал ему другие, похожие на фамилию еврейского скульптора, сосланного в Среднюю Азию и там почившего в глубокой старости…Много лет спустя, о нём вспомнили в мире и назвали Еврейским Микеланджело».

Так бы, наверное, закончил этот рассказ какой-нибудь добротный российский писатель конца какого-нибудь века… Умиротворённо и с достоинством. А тут я действительно вернулся из Питера в Москву, действительно видел, как готовится к празднику киностудия, разговаривал с художником-постановщиком, и мы помянули добрым словом Мастера… Вот и всё… Ни на какое кладбище я не ездил, не отыскивал его могилы и не возлагал на неё цветы; я… Ну, иногда рассказываю друзьям, знакомым об этом удивительном человеке. Вот и сейчас… Простите… Простите великодушно… Вот теперь я могу сказать: «Так получилось, что всю последующую жизнь я помнил Вас — Ваш облик, повадки, Вашу неизбывную тоску, Ваш талант. И если встречу Вас Там, сразу узнаю, в каком бы обличии Вы ни предстали… Интересно, узнаете ли Вы меня?..»

# Эксцентрическая комедия

Думаете, если о комедии, так будет весело?.. Впрочем, я, грешным делом, и вправду был убеждён, что смогу поставить кинокомедию. Хотя знаю: вполне это удаётся только теоретически, наш народ рассмешить трудно, он у нас основательный и ко всему относится всерьёз. Ты ему хоть что покажи, а он хоть бы… И к разным там юмористическим выдумкам относится даже скептически. А скепсис в народном понимании штука колкая, направленная остриём уже в сторону автора. Что-то вроде: «Вот посадить бы тебя (автора, разумеется) голой задницей на раскалённую сковородку, мы бы и посмотрели, как у тебя обстоят дела с этими самыми хиханьками-хаханьками — «чувством юмора»!

Заставить людей грустить, предаваться отчаянию, даже обливаться слезой горючей в наш век умеет почти каждый. Самый хилый столоначальник или полу-секальная секретарша, уж не говоря о лицах, наделённых властью, способны тряхануть каждого из нас грешных гак, что не только слезинки, не только мыслишки, но и хилого помыслишка на наших усохших ветвях не задержится.

Да и так называемые художники поднаторели в деле высекания отрицательных эмоций. Знают хитрецы все слабые струны народа-зрителя, языкотворца. Изучили. Нажал — и горючая слеза… Нажал — и сильное, а то и могучее переживание… Нажал — и пламенный пафос.

Вот развеселить нашего гомероподобного зрителя (я не на зрение, а на способность к смеху намекаю) никак не могут. Ну, прямо из кожи вон… — и никак… Это оказалось искусством загадочным, эфемерным, фатально ускользающим. Ты хоть плачь навзрыд, хоть в петлю лезь, а они не смеются… Зажрались!

По-настоящему распотешить советского зрителя за последние годы удалось только нескольким мелким иностранным киноработникам, двум-трём государственным деятелям (это уже нашим, нашим!) да режиссеру Гайдаю со своим «Псом Барбосом».

Должен добавить, что если к смеху примешивается грусть за эпоху, общество, мелкие недостатки, временные трудности, бесплодно потерянные годы или вырождение жанра, такой смех я считаю неполноценным и в расчёт не принимаю.

Итак, с отчаяния взялся я за производство эксцентрической комедии, наивно полагая, что если удастся расшевелить, развеселить людей и доставить им хоть час подлинного отдыха от нескончаемого кошмара, то они хоть браниться не станут, не станут жалеть о потерянном времени, а государство заплатит мне

за это деньгами.

Ещё была у меня одна затаённая мечта. Хотелось увидеть одновременно много ясных, весёлых глаз, и чтобы не осталось в них и тени этого омерзительного напряжения, вызываемого обилием постоянных отрицательных эмоций… Выходило так, что я решался приобщиться сонму Эразма Роттердамского, моего любимого и уничтожительного Джонатана Свифта, пронзительного Салтыкова-Щедрина, Михаила Евграфовича, великого провидца Гоголя, аники-воина Сухово-Кобылина, сакраментально талантливого и гомерического Михаила Булгакова…

«Какая наглость! Какое нахальство и полное отсутствие скромности…» Но очень уж хотелось. И началось…

Труд этот оказался непомерным, неблагодарным и, как обернулось впоследствии, сурово наказуемым в нашем серьёзном отечестве.

## *7 апреля 1967 г.*

Генеральный директор посмотрел кинопробы к картине и разнёс их в пух…

Нет, слишком мягкое слово… В пыль стеклянную! Степень его неприятия моей работы можно сравнить разве только с большой миской, густой, жирной ухи, предлагаемой сухопутной салаке на шаланде в одиннад-цатибальный шторм во время острого приступа морской болезни!

Настроение у всех создателей, словно в невесомости… И то сказать: эксцентрическая комедия в юбилейном году! (Пятидесятилетие Октябрьской Революции!) Остаётся только покрутить пальцем возле виска.

Я:

— Да она знаете о чём?.. Он:

— И знать не хочу. Какая разница?.. Я:

— Но студия сама меня пригласила… В вашем лице… Заключен договор…

Он:

— Ну, мало ли… Не знаю, не знаю… Кому это в голову…

А ведь и вправду… Само слово «эксцентрическая» уже звучит как ругательство, «комедия» — как смертный приговор самому себе. Да ещё о войне! О самом святом и возвышенном в табели о рангах и иерархии духовных ценностей!.. Очень приятно пускаться в плавание, когда за спиной стоит автор сценария, по сравнению с которым традиционный образ Иуды Искариотского

выглядит заблудшим ягненком и бесеребренником.

Да! Кстати!.. Пробы к фильму генеральный директор смотрел сразу после торжественного открытия мемориальной доски одному из выдающихся деятелей кинематографа, был в изрядном недопитии, и я был счастлив, что он не приехал прямо с чьих-нибудь похорон и поминок.

Только бы не свихнуться от тотальной подготовки к празднованию самой даты!.. Какой уж тут праздник, когда начальство, а за ним и все окружающие мрачнеют ото дня ко дню. Будто надвигаются не торжества, а сверхцунами, потоп всемирный… Население как в лихорадке, ждут какую-то серию взрывов в общественных местах, обязательно с большими жертвами, ждут американских подвохов, разгула английского ехидства, европейско-коммунистических несогласий и китайских массовых диверсий, переходящих в военные столкновения невиданных масштабов… Рассказывают, заместитель председателя государственного комитета по кинематографии ещё недавно стучал рукой по столу и даже кричал:

— Вы что думаете, Великие Торжества закончатся с юбилейной датой?..

— Нет! Не будет этого!.. Если понадобится, юбилейный год будет продлён на весь следующий… А там видно будет!.. (Он чуть не сказал — «В зависимости от вашего поведения…»)

Итак, чтобы не отвлекаться — кинопробы к эксцентрической комедии не были приняты. Нам намекнули, что если мы тут же не отречёмся от обозначения «эксцентрическая» и не присягнём обозначению «реалистическая **и** лирическая», то нашей комедии будет сделана «ля финита» (попросту говоря, её закроют). Мы поспешно отреклись и лихорадочно присягнули.

После эдакой встряски стояли мы — все пострадавшие — кружком во дворе киностудии и ждали своего красного полутюремного-полу-пожарного микроавтобуса. Острили напропалую, хохотали демонстративно громко… Юмор мрачный, смех горький, что ни шутка, то в десятку — особо отличались артисты — они народ привязчивый, доверчиво прилипчивый, в настоящем горе замечательное племя. Вот во славе они чаще подлеют, впрочем, как и люди других профессий…

Появился генеральный директор. Пошёл по двору, не спеша сел в машину…

Главная артистка, наскоро скроив скорбное личико, так и отстояла, пока машина не скрылась за поворотом… Снова послышались угрюмые шуточки, надсадный смех… И вдруг она с внезапной откровенностью тихо проговорила, будто стеклянную посудину на каменный пол опустила: «А я-то дура, аборт

сделала… (гримаса). Сейчас ходила бы… (жест). На восьмом месяце… Идиотка косоглазая… Всё из-за твоей картины… (В одном глазу навернулась настоящая слеза). Ребёночка бы в мае родила…»

Кто-то обнял её за плечи. Так и стояли.

Больше не шутили. Решили — хватит.

### *14 апреля 1967 года.*

Казалось бы, сейчас самый момент начать описывать всю, не лишенную выразительности, возню вокруг закрытия картины. Но парадокс заключается в том, что непрерывная борьба, расчеты, уловки, интриги, прямые и косвенные оскорбления, безмерные унижения отнимают не только все силы, но и способность писать…

Я замечал, что на фронте лучшие заметки в записной календарной книжке появлялись в перерывах между боями. В дни боёв — куцые, бледные: номера оружия и подбитых машин, цифры — количество нательных рубах, плащпалаток и подштанников, подлежащих списанию. А во время самых жестоких, кровопролитных и угарных сражений, когда путались дни с ночами и сутки порой казались неделями, в записной книжке оставались пустые страницы…

Видимо, чем выше начальник (в официальном лексиконе «руководитель», какая убийственная ирония!), тем больше его унижают. Потому что он уж, руководитель, в свою очередь не знает границ в этом отвратительном роде деятельности… Мысли покидают меня, рука отказывается писать. Не бастует, не сопротивляется, а безобразно бессильна — словно тихо уходит, и я сиротею…

Чтобы жить и работать в моей профессии (наверное, не только в моей…) надо притворяться покорным, покладистым, позволять каждому хаму, неучу и негодяю поверить, что из тебя можно вылепить всё, что угодно, всё, что вздумается… Приходится прикидываться гибким и бездарным. А это ой как утомительно…

И вот в конце концов, когда покажется, что ты всё это не зря вытерпел, и победил, и цель близка… Ненароком обнаружится, что ты стал точно таким, каким притворялся.

Оттуда не возвращаются.

### *2 июля 1967 года*

Наша работа завязалась «гордиевым узлом», и узел затянули до предела.

От меня настойчиво требуют, чтобы комедия была реалистической, а я (честно!) не знаю, что это такое. Семантический сдвиг, словесная психопатия. Сначала настаивали, чтобы комедия была «лирической», тут я ещё кое-что понимал: стало быть, надо сделать её не смешной. Но когда ультимативно зазвучал термин «реалистическая», я малость растерялся. В самом деле: автор — фигура распространенная и реальная, сценарные записи разного рода — реальны и приняты определенным кругом людей, среди которых были реальные редакторы, режиссеры, работники государственного аппарата и даже один почти реальный заместитель председателя госкомитета, не говоря уже о нескольких вполне реальных военных из главного политического управления Советской Армии…

Оказалось мало.

Вездесущий враг нашего боевого искусства — «голый формализм» неумолимо вторгся в круг наших деяний… Да-да, фор-ма-лизм! — в лице никому не известных режиссеров, вполне неудавшихся сценаристов, не удавшихся ещё в момент зачатия начальников разных управлений и отделов. Да ещё «голый!»

Все они кинулись обучать меня тому, что смешно, а что не смешно в этой жизни, над чем можно, а над чем нельзя — в этой жизни, а главное — что реально, а что совсем не реально!.. И всё-то они знают, и всё-то им известно заранее… Ленивые прихлебатели, почерпнувшие свой военный опыт из картонных кинофильмов, снятых с перепугу в глубокой тыловой провинции, учили меня всему, даже тому, с какой стороны нужно носить боевые ордена, которых у них отродясь и в помине не было, и как надо отражать (обожаю это словечко!) немецко-фашистских выродков… А я-то, бедный, всего одиннадцать раз в жизни сталкивался с фашистами лицом к лицу — один на один. И приблизительно двадцать два раза в составе групп. И остался в живых. Значит, что-то тридцать три раза происходило? Что-то случалось?..

Нет. Это всё формализм. Голый и страшный. Страшный сон, в котором не будет пробуждения. Сон, в котором можно только ещё раз заснуть.

Между прочим — всё это происходит на фоне общей расхлябанности, крохоборства, унижений, обилия полуразложенных-полуграмотных сотрудничков, с единственно действенным производственным лозунгом — «Давай-давай!»… Всё это происходит с явными и инспирированными закрытиями

картины, с угрозами прекратить финансирование, если я «не устраню» или «не выправлю линию…», с неописуемыми по бесцеремонности указаниями, «кто должен играть ту или иную роль, а кто «ни под каким видом»! И после года каждодневной, изнурительной работы, из которого восемь месяцев я не получал зарплаты (оказывается, и такой закон существует), возникающий ненароком вопросец: «А тот ли режиссер приглашен на эту картину или, может быть, нужен другой?!».

Да!.. Ещё!!.. Извините, чуть не забыл…

Мы снимаем комедию!

Она обязательно должна быть:

— жизнерадостной;

— жизнеутверждающей;

— вполне реалистической;

— лишенной какой бы то ни было эксцентрики (Грозный окрик — «Без балагана!»);

— скромной и тактичной по отношению к немцам (Вдруг!). Даже если это фашисты, даже если эсэсовцы?..

— и притом весёлой… Солнечной Комедией. Да здравствует комедия!

## *22 ноября 1967 года. Вместо эпилога*

При чём тут Чаплин и прочие комедиографы…

Что там Бунюэль со своими психологическими примочками, плюс Хичкок со своим кошмарным Пси-хо…

Перед самым началом съёмок артист, навязанный «свыше», исполнитель главной роли, после очередного запоя брякнулся в тяжелом эпилептическом припадке, причём умудрился ненароком проглотить свой собственный зубной протез.

Вся медицина удивлялась, почему это ему так трудно дышать?.. Дома жена рассказала, что у неё нет денег, а «мост шатается»; соседка сообщила, что у неё зуб сорвался с законного штифта, а также надо депульпировать два и в трёх завершить работы по фундаментальному пломбированию. За ужином бабушка вскрикнула и объявила, что сломала вставную челюсть, дочка довела до сведения родителей, что у неё режутся зубы. Ночью мне приснилось, что я твёрдой рукой вынул все свои здоровые зубы и скромно положил их на алтарь Отечества… Наутро вышеупомянутая бабуля заметила, что всё это не к добру.

## *13 декабря 1967 года. Финал.*

На последнем решительном этапе монтажа комедии генеральный директор распорядился: «калёным железом вырезать из картины всю эксцентрику» (!) И назначил комиссию: трёх наблюдателей, лично ответственных за претворение в жизнь этого бодрого решения… Ну, тройка и порезвилась на славу!.. Ещё двое были пристяжными.

На районной партийной конференции, упомянув о нашем паскудном киношедевре и всуе огласив моё имя, генеральный поклялся:

— Теперь он (то бишь я) сможет ступить на киностудию только через мой труп!

Причём, повторил эту клятву дважды… Один из моих закадычных врагов спросил окружающих:

— И чего это он так любит свой труп?

Сейчас, после всех мытарств и унижений, из всех комедийных концепций у меня осталась одна: Не только когда война, но даже когда чума и мор, найти в себе силы улыбнуться… А если к тому же сумеешь, в трудную минуту, помочь улыбнуться ещё кому-нибудь, то ты просто молодец.

***Речь режиссёра — постановщика перед премьерой фильма.***

***Документ.***

Уважаемые сограждане! Даже — Дамы**…** Даже — **Господа…** Вам доподлинно известно, что почти все режиссёры, подходя к этому микрофону, говорят о том, что они ужасно волнуются… Это стало традицией и звучит, как мольба о снисхождении… А сразу после премьеры, невзирая на успех или провал фильма, весь так называемый творческий коллектив совершает восхождение на киноолимп союзного масштаба — в ресторан этого же здания!

Вконец истрепанные нервы режиссёра-постановщика сдают на первой же рюмке (тем более что путают и пьют из фужеров). До третьего захода дотягивают только титаны, а там уж идёт так называемая «релаксация», то бишь полное расслабление под действием алкоголя.

Нам захотелось внести некоторое творческое новшество в этот ритуал. Мы посоветовались и пришли к общему решению: совершить восхождение на Олимп ДО премьеры и тем самым убить сразу трёх зайцев.

Заяц первый. Мы избавим уважаемых зрителей, коллег и родственников от удручающей необходимости выслушивать отчет о клиническом состоянии нашей нервной системы. Попросту

говоря, мы там наверху утратили всякую способность к волнениям за судьбу созданного нами фильма. Мы не волнуемся!

Заяц второй. Вы будете избавлены от скучной надобности выслушивать наши заверения в том, что творческий коллектив гораздо больше той малочисленной группы, которая предстала здесь перед вашими взорами (по случаю съемок в новых, ещё только создаваемых киношедеврах) и — О! Ужас! — по случаю внезапно обрушившихся тяжелых болезней… Спешим вас заверить: Мы все абсолютно здоровы! Нигде не снимаемся!

Ничего не снимаем! (Мы безработные). А, образно говоря (теперь ведь все говорят только образно), сюда спустились самые могучие представители коллектива, всегда верные долгу, нашедшие в себе силы не только оторваться от стола, но и выйти на подмостки… Пред ваши ясны очи… Уж только за это они достойны ваших симпатий и аплодисментов… И мне остаётся назвать их поимённо, не вдаваясь в перечисление их бесчисленных достоинств.

(Следует поимённое представление) И наконец. Третий заяц… Убитый!.. Да ну его… Надоели эти укокошенные зверюшки. Пусть себе ска-чут… Ату его… то есть Брысь! Предлагаю перейти к самой безответственной части сегодняшнего вечера — к просмотру фильма… Не волнуйтесь. Всё, что могло бы Вас взволновать, из этой ленты заблаговременно удалено заботливой рукой коллективного разума и… руководства… Если бы вы знали, какое всё это барахло (не фильм, а руководство… И то, и другое… Кажется, меня стало малость развозить… (Уходит со сцены. За ним тянутся остальные — оживление в зале, аплодисменты.)

Режиссер останавливается (говорит без микрофона):

— Хорошо бы и после фильма были бы такие же… аплодисменты…

# Две театральные легенды

***Обе посвящаются Софье Юлиановне и Станиславу Адольфовичу Радзинским***

## *О СДАЧЕ*

Сдавали форты, крепости, города…

Сдавали хлам, пришедшее в негодность имущество, сдавали дела в архив, должности, деньгами сдавали сдачу…

Сдавали карты в лихих, честных и шулерских застольях…

Сдавали назад, не выдерживая и отступая…

Сдавали краски на полотнах, тускнея и оплывая, сдавали люди под тяжестью обстоятельств или возраста…

Сдавал металл, сдавало дерево от встречи с более крепким материалом…

Сдавали хоругви, знамёна, оружие…

(Смотри толковый словарь Владимира Даля).

Теперь сдают СПЕКТАКЛИ.

(Ни в одном словаре не ищи, не сыщешь).

Сдача спектакля — это торжественный акт коллективного истязания труппы, приведения в состояние трясущегося желе и полной творческой непригодности. Сдают два-три дня, две-три недели, два-три месяца… Есть случаи, когда сдают годы.

Сдача города всегда предполагает одновременную приёмку его теми, кому сдают. Так вот, при сдаче спектакля случается, что принимающие отвергают сей скромный дар и отказываются его принять… Великодушный победитель не принимает покорной сдачи. Вот ведь до какой степени возвышенного докатились!

Картина эта являет собой приблизительно следующее.

Доведённый до отчаяния автор бормочет, что он больше не может… что ТАМ уже ничего не осталось… ТАМ — это, разумеется, не на небе, а в его пьесе, которую он, оказывается, сдаёт… (сбился со счёта!) в какой раз —… и вот уже четвёртый раз, теперь уже вместе с театром — О! Это великое «ВМЕСТЕ»! — сдаёт её, бедную, неизвестно кому: неизвестно, потому что это сонм людей, получающих где-то жалованье и долженствующих, а потому могущих только НЕ принять (потому что за это НЕ наказывают), и НЕ могущих принять спектакль, потому что за это НАКАЗЫВАЮТ…

После каждого непринятия даются поправки, которые истерзанный автор наспех диктует актёрам, а последние делают вид, что записывают или запоминают — они-то лучше других знают, что ещё и ещё будут новые поправки («так зачем же запоминать? засе… нет, засорять мозги?..») А после поправок ГЛАВЛИТ…

ГЛАВЛИТ!

Вот мы и заговорили о самом щепетильном из всех известных учреждений — О ГЛАВЛИТЕ… Она, видите ли, почему-то стесняется своего подлинного назначения и не хочет называться ЦЕНЗУРОЙ. Она неистово сжимает колени и с достойным усердием хочет перелезть в мужской род, что ей, действительно, больше к лицу, потому как, чего греха таить, не её же…. (короткое слово вычеркнуто ГЛАВЛИТОМ), а она же…. (модификация того же короткого слова вычеркнута ГЛАВЛИТОМ). И она вечно живая и неистребимая, несмотря на то, что сам Сталин её однажды…. (гениально вычеркнуто ГЛАВЛИТОМ и восстановлено слово «упразднил»). Правда, всего на два-три дня, чтобы за это время доказать миру, что ОНА у НАС ОТСУТСТВУЕТ. И доказал. Правда-правда — два-три дня в Советском Союзе цензуры не было.

Но хватит об этой шаткой и малозначительной фигуре (я имею в виду автора). Подумаешь — автор! Тоже ещё Вильям де Вега — Жан Батист Шекспир — все они неврастеники, себялюбцы, многожёнцы и с извращениями…

То ли дело — РЕЖИССЕР!

Этот ходит гордый, взвинченный, на лице крайняя степень самоуверенности и намёк на то, что Там (!) у него что-то, или вернее — кто-то есть. «Там» — разумеется, не в этой полухилой пьесе, а на небе. Сдавая не пьесу, а постановку, он всем своим видом намекает на то, что «сдача» это только отвлекающий маневр, а на самом деле он захватывает сферы, области, материки, если захотите!..

Захвату подлежат Главки, Комитеты и даже Министерство (не забывайте Голенищева-Кутузова и матушку-Москву — это вечные символы сдачи во имя грядущей победы). Нам всё-таки положительно везёт в этой сфере. Ну представьте себе на одну только минуточку-секундочку, что Голенищев не сдал бы французам Москвы?! Вы понимаете, как тяжела, как невыносима была бы сейчас жизнь, особенно в области художественного творчества, я уже не говорю о театре и его кульминационном проявлении — О СДАЧЕ!

Итак, СДАЧА позиций, форта, крепости, оружия, СПЕКТАКЛЯ!

Пусть играет музыка…

Пусть погода станет хорошей, а женщина красивой…

Пусть в буфете будет сутолока и сёмга, а в фойе крайнее оживление и никаких подозрительных типов… Пусть будет ТЕАТР!

— Черта вам лысого, а не театр! Праздника захотели! Тоже ещё мейерхольды — недоноски — воители… Сдача — это сдача и ничего больше.

Приедут Они и молча сядут, преисполненные неким высшим и тайным смыслом, им одним ведомой значительностью (некоторые даже будут шутить… чуть-чуть).

Придут зрители, приглашённые и припёршиеся по собственной настырности, чтоб им всем передохнуть!

За Тех не волнуйтесь, они не выразят ни единой эмоции, а если кто-нибудь выразит, значит, переходит на другую работу или снимают… А зрители… это самое ужасное явление в театре, особенно во время сдачи.

Если они не будут смеяться, это страшно, потому что пьеса-то — комедия, а если будут смеяться, это чудовищно… Потому что к вечеру того же дня все места «со смехом» изымут из текста пьесы и попросят… предложат… убедят изъять из спектакля к той самой матери, которую ГЛАВЛИТ всё равно вычеркнет, так что можно её не обозначать вовсе.

Если не будет реакций, значит, нет контакта с залом, нет спектакля; если реакции будут, то обязательно вам дадут понять, что нездоровая реакция зала говорит сама за себя и автору вместе с режиссёром, а режиссёру вместе с автором, нужно подумать, переосмыслить, переакцентировать..

Если не будет аплодисментов, то это не театр — нет театра без аплодисментов; если аплодисменты будут, то это конец… петля!.. Потому что эти болваны, — эти зрители, — не желающие считаться с обстановкой, не понимающие всей сложности обстоятельств сдачи, всегда аплодируют не там, где нужно… Разве во время сдачи в этих местах аплодируют?!.. Кретины! Предатели! Двурушники!! Доносчики!!!.. Кому, скажите, нужны их идиотские аплодисменты там, где им лучше всего было бы заткнуться… и помолчать. Мелочь! Тупицы!! Дерьмо!!!

Вообще не знаю, зачем я писал для них эту пьесу?.. Можно ведь было и написать её для кого-нибудь другого… В общем-то и я изрядное де-е-е-рьмо. А о пьесе и говорить нечего… Вот она, со всеми её потрохами, не стоит и тысячной доли тех мук, которые мне пришлось испытать в этом унизительнейшем положении под названием «сдача».

Но самое большое дерьмо — это актёры. Если бы вы видели, как они боятся произносить текст во время сдачи… Словно их

проглотят за каждое произнесённое вслух слово, за каждую букву в этом слове. Лучше всего им удаются глубокие паузы!.. У них дрожат колени, дрожат ляжки, икры, в них всё дрожит, они всего боятся и при этом (вот ведь мелкие душонки!) и при этом хотят аплодисментов, хотят успеха, восторгов, комплиментов, подношений, преклонения, присвоения званий, увеличения зарплаты, триумфа!.. Честолюбцы, лишенные элементарной скромности!.. Они даже в сдаче тайно хотят, чтобы их заметили и выделили среди других… И всё это при боязни произносить текст.

Но должен признаться, что при всей ненависти к ним мне их очень жалко. Во-первых, потому, что у них маленькая зарплата (что правда, то правда). А во-вторых потому, что они встречаются со зрителем лицом к лицу. Это не пустяк и требует незаурядного мужества — при всей их безграничной трусости…

Хватит!.. Всё, всё, всё мне надоело!..

А что вот если несмотря ни на что… успех, триумф, восторг!.. Что тогда?.. Тогда: один из тех, что НЕ реагируют, прощаясь, крепко, по-товарищески, пожмёт руку автору и скажет:

— А ведь восторг-то был… того… НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ.

## *Через пятнадцать лет*

Драматург Эдвард Радзинский СДАЕТ в театре им. В, Маяковского всем, кому положено по штату, и всем, кому не лень участвовать в этой суете, свою пьесу, превращенную в спектакль — «ОНА В ОТСУТСТВИИ ЛЮБВИ И СМЕРТИ»…

Всё шло у него в этом, вернее — прошлом году… Ну, как тут не перепутать?! Ведь до того три с половиной года у него всё шло из рук вон плохо, — тьфу ты!.. Значит, в этом — прошлом — всё будет хорошо, но уж не так, как могло бы быть.

С одной стороны — «Существует ли любовь? — спрашивают пожарные» — пьеса в двух актах, с антрактом, но без буфета. Потому что на малой сцене театра Моссовета (всего 100 зрителей)…

А существуют ли ПОЖАРНЫЕ? — спрашивают погорельцы.

А существуют ли ПОГОРЕЛЬЦЫ? — спрашивают чиновники и партократы.

А существуют ли ЧИНОВНЫЕ ПАРТОКРАТЫ? — спрашивает интеллигенция.

А существует ли ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ? — спрашивают зрители.

А существуют ли ЗРИТЕЛИ? — спрашивают органы.

А-а-а существуют ли о-о-ОРГАНЫ? — спрашивают кастраты…

Так вот, в театре На Малой Бронной — «Продолжение Дон-Жуана» — пьеса Эдварда Радзинского с Мироновым и Дуровым в главных ролях, донны Анны там днём с огнём не сыщешь. Но она есть.

Постановка Анатолия Эфроса, режиссер считается Большой, но ставит на малой сцене. Зальчик вмещает не более 80-ти человек, зрители, как сельди в бочке, стараются не дышать совсем, да и нечем. А исполнителям очень трудно выходить на сценическое пространство — зрители не пропускают. А на Большой сцене, в постановке не бог весть какого большого режиссера «Лунин, или смерть Жака» — пьеса того же, заметьте, Эдварда Радзинского, прошу не путать с тем же самым Эдвардом Радзинским… Ещё что-то, ещё где-то — всего: ЧЕТЫРЕ премьеры! Для Москвы это невиданно. А для какого города видано?! Четыре (прописью) — этого ни один советский, даже антисоветский драматург выдержать не сможет. Утверждаю.

Наш «ЛИТ» — цензура после длительных препирательств, каждый раз разрешение на постановку даёт только в одном единственном театрике. А как же вся остальная страна?.. Необъятная и необитаемая?.. Так и будет задыхаться в сплошной порочной бездуховности?.. И вот так всегда.

А тут ещё «Она в отсутствии любви и смерти» — пьеса Эдварда Радзинского в театре Маяковского. Выпускают!.. Или не выпускают? Одни выпускают, другие не принимают — знакомая картина. Старо!

Эдвард серьёзно болен (какой-то тройничный или даже четвертичный, не период, а нерв затронут), а у нас драматургу болеть нельзя, даже нервом… Пришёл на спектакль Первый секретарь Краснопресненского райкома и ему НЕПОНРА!!! НЕПОНРА и всё тут. Это уже принятый всеми инстанциями спектакль ему НЕПОНРА. И вот спешно назначается новая приёмка спектакля, которая может превратиться в неприёмку.

ВЕЛЕНО (!): ИГРАТЬ ВЯЛО, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ТАКОГО СМЕХА, КАКОЙ БЫЛ… МЕНЬШЕ СМЕХА… ИГРАТЬ БЕЗ АКЦЕНТОВ, СМАЗАННО… ЧТОБЫ АПЛОДИСМЕНТОВ НЕ БЫЛО!., (приказ главрежа).

Народный артист СССР, Лауреат Гончаров, по согласованию с главным управлением московских театров и ещё с кем-то, и в промежутке между двумя сильнейшими сердечными приступами, тихим, слабым голосом довёл это до сведения вверенного ему театра, труппы, дирекции, драматурга и примыкающих к ним доброжелателей…

Какой-то секретарь из того же легендарного Краснопресненского райкома (но не Первый, а какой-то другой

номер) позвонил в театр директору:

— Да! Спектакль принят, НО!.. Или вы этот спектакль снимете сами и не будете играть его вовсе! Или во всех московских газетах будут разгромные рецензии…

Справедливости ради пора сообщить, что автор в процессе сдачи спектакля, уже внёс в пьесу целый ряд существенных изменений, которые, в конечном итоге, вывернули наизнанку главную мысль его пьесы — не то что заменили на обратную, прямо противоположную, что чаще всего и случается при сдаче, а просто размыли смысл всей пьесы до слабоумного недоумения, и в добавок оставили пьесу без окончания — ВОТ ЧЕГО ХОЧЕШЬ, ТО И ДУМАЙ… А ЛУЧШЕ ХЛОПАЙ, ЧЕМ ХОЧЕШЬ, И НИЧЕГО НЕ ДУМАЙ… Крови нет, открытых переломов заметить нельзя, что-то главное вывихнули, и все вывихи внутренние.

— Если бы я знал, что им нужно?.. — бормочет ослабленный болезнью автор и даже не замечает, что говорит цитатой из Бертольда Брехта («Если бы я знал, какой Бисмарк им нужен?» — «Страх и отчаяние в Третьей Империи», новелла «Шпион»). — Я не могу уловить причинно-следственных связей в их возражениях. Это клиника какая-то…

«Ишь ты! Причинно-следственных связей захотел… Да если бы эти твои «причинно-следственные» связи были, знаешь, как бы мы жили? Знаешь?!.. Мы сейчас, может быть, уже на пороге были… этого, как его..? Ну, ладно.

Главный режиссер уже откровенно стонет в телефонную трубку с оттенком доносительства (ему, пожалуй, хочется чтобы этот телефонный разговор был подслушан и передан по инстанциям), несмотря на крайнее недомогание, он почти диктует:

—.. Я ничего не понимаю! Всё, что я делаю, никому не нужно… (Хоть этот спектакль ставил и не он). Рядом на Тверском бульваре театр Пушкина, под началом того же Бугаева. Там, у Пушкина (что и Пушкин уже в ведении Бугаева?.. Мама!..)… там, у Пушкина, нет зрителей. Всюду билеты дают в нагрузку к дефицитным, в том числе и к моим — Маяковским! У них во всех кассах Москвы всегда есть билеты!.. И там никто ничего не снимает, не запрещает, — всё в полном ажуре. Всё принимают.

Эдвард Радзинский в ответ на требование директора театра «идти, идти на уступки, а там видно будет, чья ещё возьмёт!», закричал:

— Никого ничья не возьмёт! Я знаю, кого чья берёт! И всегда одна и та же, одного и того же!.. Я пьесу уже испортил… Час назад я вернулся с похорон моего учителя (действительно он был на похоронах замечательного профессора, историка и слависта

Зимина)… И я не буду за оставшийся час с четвертью переписывать пьесу, как вы того просите. Я и так её уже прирезал!.. Весь финал заменен! И превращен чёрт-те во что!! — он сорвался, его понесло. — И Миша Рощин тоже свой «Старый Новый Год» искалечил. И все это увидели сразу… Я сделал всё, что мог… Подготавливать главрежа я не хочу. Чтобы у него опять было плохо с сердцем из-за «отсутствия любви и смерти»?.. Тьфу ты, я что-то не то… Я их пьесу им писать не буду — я ненавижу эту «ИХ ПЬЕСУ» и для улыбочки Бугаева ни-че-го писать не буду… Игра в кошки-мышки закончена, я уже изуродовал свою пьесу! Я Сукин Сын! (Мерзавец, его мама сидит рядом и пьет чай). Испортил хороший финал, но всю пьесу я им портить не стану!.. Л-о-о-жь! Всё ЛОЖЬ!!.. Я плевал на «ваши нужды» и на «судьбу молодого режиссера»! — он старше меня и уже плешивый… И на ваш «Академический театр»!.. Который не может отстоять уже принятую пьесу!.. Ну?.. Ну, потеряю пьесу… Я их уже терял… не раз и не два!.. 23 марта на пленуме Союза Писателей я расскажу всю эту историю!.. Вы все творите постыдное, невиданно постыдное, потому что ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ЦЕНА ЭТОМУ СПЕКТАКЛЮ ТРИ КОПЕЙКИ!.. Всё, что творится вокруг спектакля, чушь и бред; все предложения главного во спасение спектакля и режиссера — воспалённый бред и мерзопакостная чушь. И их нельзя ни выполнить, ни объяснить. Я готов на многое, но не могу позволить себе окончательно стать СУКИНЫМ СЫНОМ! — (Он настаивал на злостном оскорблении своей замечательной мамы.) — Всё! — бросил трубку.

Посидели в прострации. Весь заряд был выпущен не совсем по адресу, Это было что-то вроде разминки, пристрелки, подготовки к прыжку… Вдруг с опасным хрустом смолотил яблоко. Взгляд стал походить на всем нам знакомый взгляд птеродактиля. Набрал номер — полез в пасть мезозойскому крокодилу!

— … Бур-бур… Мур-мур… У-гу… у-гу… — вдруг вскрикнул, словно сорвался в кратер вулкана, — неэ-эт!.. Срочно!.. Сейчас!., (пауза)… Здра… Да… да… да… (Началось! Он дорвался до Первого секретаря, того самого, которому НЕПОНРА!) — Вам не понравилось… Совсем не понравилось… Да… Да… Я хорошо знаю, как вам нравились все мои предыдущие… но об этом вы тогда никому не сообщали… Ваше личное мнение?!.. Тогда почему выводы делаются общественные?.. Имеете — имеете право смотреть всё, что вам вздумается… И мнение высказывать право имеете… Но почему, если мне что-либо не нравится, вещь со сцены не снимают и не угрожают залпом «всех московских газет»?.. Да, пресса имеет право высказывать мнение и отзываться

на… Но есть ещё и Союзные газеты, где я смог бы вам ответить, есть пленумы союза писателей и иные форумы, где… (Это была наиболее слабая и наименее убедительная часть его речи, а дальше всё пошло лучше)… Не будете ходить совсем?.. Или только на мои пьесы?.. Я не думаю, что это выход из положения, но в моём случае я бы действительно не возражал… Сегодня, через полтора часа… По вашей милости или по милости ваших перестаравшихся помощников… Да. Будет решаться!.. Судьба!.. Второй раз! Уже однажды решённая… И билеты проданы. Все до единого… Спасибо… Спасибо… Я тоже буду рад, если окажется, что вы были неправы… Спасибо… Вам того же желаю… Да нет, что вы… До… — тихо положил трубку на рычаг, лицо было в красных пятнах, на лбу выступила испарина.

Прошло пятнадцать лет — ничего не изменилось — разве что стало ещё хуже, еще отвратительнее, ещё мрачнее. Кладу осторожно и я своё лёгкое перо на могучие рычаги государственности. Хорошо было классикам советовать: «Писать надо, конечно, кровью сердца, но только своего, а не чужого».

Советовали бы там у себя во Франции и сюда не совались бы (впрочем, они, кажется, и не совались, но всё равно…). Пошляки какие-то были эти классики.

Современной обстановки не чувствовали, не понимали грандиозности масштабов и размаха задач, не знали всеобъемлющего наступательного характера всех эшелонов идеологического фронта… Боже! Что это со мной?

Драматург кинулся снова к телефону, набрал номер: — Доктор, это я… Вы придёте на премьеру?.. Ничего не знаю, но состоится… у администратора?.. Нет-нет, что вы, я сам вас встречу… Правый подъезд. Прямо пробирайтесь и входите. Я буду… Да, что-то неважно — опять стреляет в висок… И отдаёт в ноге… Через всё тело!.. Нет-нет, доктор — ЧЕРЕЗ ВСЁ!

***март 1980 — февраль 1981.***

# Шесть легенд о Рубашкине

*«Он определял жизнь, как стремление существа к развитию в обстоятельствах, стремящихся его раздавить…»*

*Ромен Роллан, Собрание сочинений, т. XIX с. 209, «Жизнь Вивикананды»*

## *I. Вовсе не легенда*

— Напишите о художнике Самуиле Рубашкине.

— Не смогу.

— Почему?

— Потому что я всегда видел его со спины. Хоть и в берете, но не у мольберта!

— Это как это?

— В обнимку с кинокамерой — левый глаз прищурен, правый прижат к окуляру…

Он был уже не молод, полноват, ему трудно было пригибаться к земле и тем более лежать на животе, а я предпочитал острые ракурсы, необычные точки, я хотел удивлять, поражать, убеждать.

Вот когда у него съёмочную камеру отнимали, угнетали безработицей (которой у нас не было и нет), и гнёт доводил до отупения… после этого только, да и то не сразу, а потеряв два-три десятка лет, может, и больше, Рубашкин купил картоны, ватман, краски (какие были в продаже), кисти (не самые дорогие) и сел за мольберт, да ещё так, чтобы его никто не видел. И начал художничать. Наверное, чтобы совсем не отупеть от всеобщей несправедливости и причудливых вывихов судьбы.

А там уже пошли суждения друзей, ахи-охи, подрамники и холсты. Постепенно его живопись становилась памятью о самом существенном. Это была та часть памяти, которая даётся не каждому, а только тем, для кого сотворение и устройство мира — главнее всего, а покой в нём — некое производное, результат большой и постоянной духовной работы.

В этом мире быть настоящим художником не легко, быть и оставаться самим собой ещё труднее. Ни перед кем не гнуть спины, не заискивать (это в кинематографе-то!), не позволять

унижать себя никому никогда. Это очень трудно… Потому что тебя ещё кое-как примут, тебе ещё кое-что простят, но только если ты будешь знать свой шесток и… позволишь хоть немного помыкать собой. Такова была и, пожалуй, остаётся жизнь внутри нашего кинематографа. Да разве только кинематографа?..

Рубашкину было совсем не просто, потому что он был не очень-то защищен, болезненно самолюбив, знал себе цену, но всё равно не позволял наступать себе «на больные мозоли». И если уж где-либо и перебирал через край, то, главным образом, профилактически, защищая своё достоинство.

Надо заметить, что Самуила Рубашкина все, кому не лень, называли Мулей.

— Муля! — и он спокойно отзывался.

Это, видно, повелось так с кинематографической молодости.

Но я его всегда величал только по имени и отчеству, потому что мне нравятся библейские имена — среди них Самуил представляется одним из самых высоких — «Испрошенный у Бога, Богу посвященный!»

Он никогда не совершал никаких подвигов, казалось, не имел к этому занятию пристрастий (и это в век «сплошного, неуёмного героизма!»). Он не был таким уж особенно конфликтным человеком, но на съемочной площадке конфликтовал чаще, чем следовало (мне всегда казалось, что авансом, на всякий случай, с опережением) — этакие вспышки благородного гнева мистера Пиквика по мало уловимому поводу. Когда я однажды ему это заметил, он с вызовом произнёс:

— Да! Я не сахар. Но ведь и вы не мёд!

Мы редко говорили не о деле, не о кино, не о завтрашней съёмке.

Смелым в административных баталиях его назвать было трудно, на худсоветах он помалкивал, а потом кипятился — «Да я бы ему сказал!.. Да я бы ему ответил!..»

Ну да, не был он оратором и бретёром! Зато трогательный он был человек. И художник.

## *II. Легенда о Москвине Андрее Николаевиче*

Мы были варяги, приглашенные на киностудию «ЛЕНФИЛЬМ», чтобы снять один, мало кому нужный тогда фильм под названием «Последний дюйм». Мы — это режиссер Никита Курихин и я. Взяли нас с Московской киностудии научно-популярных фильмов, и выходило, что нас перетаскивали в более высокий разряд, а это процесс в кино всегда боевой и

воспринимается окружающими болезненно. Особенно в Питере, где все вокруг ждут подвоха (и, как правило, неспроста). Отсюда и особая настороженность к нашим персонам — «не для очередного ли подавления привлечены эти молодцы; не для поругания ли давно поруганных традиций эти опричники предназначены, не для разрушения ли остатков культурного слоя явились эти пахари?!»

И вот в самый разгар баталий один из первейших авторитетов студии, независимый и неуправляемый человек, легенда кинематографа, Андрей Николаевич Москвин, выдающийся кинооператор и крайне взыскательный художник (о нём и его великолепных и странных завихрениях следовало бы рассказывать и рассказывать подробно и отдельно), так вот, сам Андрей Николаевич Москвин заявил во всеуслышание:

— Эту картинку с этими пришельцами, буду снимать я.

И тем перекрыл все разговоры о том, кто встанет у нашей камеры шефом.

Такое заявление могло и испугать до полусмерти, ведь мы были дебютанты в игровом кино, а он — один из хозяев киностудии «ЛЕНФИЛЬМ»!

Но речь идёт не о фильме, даже не о Великой Легенде кинематографа А.Н. Москвине, а об…

Перед самым выездом в экспедицию на пустынные берега Каспия худсовет запретил Москвину ехать с нами «в это пекло» (у Андрея Николаевича уже был обширный инфаркт миокарда, и тут худсовет выступал в роли заботливой няни). Начальство берегло здоровье выдающегося мастера, а мы оказались в сложном и малозавидном положении.

Вот тут-то Андрей Николаевич заперся с нами в комнате, долго мял и заламывал мундштук своей папиросины «Беломор-канал», крякнул наконец и заявил:

— Вот, вроде бы, я вас подвёл и в экспедицию не еду! (а все подготовительные работы мы провели вместе.) Но при этом предлагаю взять в операторы человека, за качества которого могу полностью поручиться — это Рубашкин… Муля!.. Знаете такого?.. Если у одного из вас возникает хоть малое недовольство его работой, даёте телеграмму, и я вылетаю.

На следующий день оператор Рубашкин приехал из Москвы в Ленинград. Отдалённо мы знали друг друга, а более подробно узнавали уже в павильоне и затем прямо на съёмках в экспедиции — а там узнают друг друга быстро, как в бою. Москвин считал его оператором-художником, который так и не снял ещё своей заветной ленты — а мог бы, и не раз, но всегда какие-то обстоятельства мешали ему, или он им…

Тогда я знал только одну заметную работу Рубашкина, довольно смелую по тем временам, а по существу конъюнктурную ленту о перевороте в руководстве комсомола «Закон жизни» — фильм скандально нашумевший — его выпустили на экраны, зрители заметили его, начали смотреть… И внезапно его не сняли, а содрали с экранов (я сам видел, как на Пушкинской площади среди бела дня лихорадочно срывали с фасада кинотеатра «Центральный» рекламные щиты и полотна этого фильма). Но я успел его посмотреть: там высший руководитель комсомола оказался подонком и моральным разложенцем, его разоблачил не очень хороший парень (артист Д. Сагал) и в трудной борьбе не только спас честь всей молодёжной организации, но и своей возлюбленной, которую чуть не соблазнил комсомольский развратник. То ли за это, то ли по совокупности заслуг борца на очередном пленуме избрали верховным руководителем всей молодёжи!

Сталин, говорили, вернулся из отпуска, посмотрел фильм и… чуть не укокошил всех разрешителей и всех создателей этого опуса. Уцелели они каждый своим чудом!

Нет в живых создателей этого фильма.

Уже давно нет Андрея Николаевича Москвина…

Погиб в автомобильной катастрофе неутомимый Никита Курихин…

Не знаю, какими путями и куда летит в безбрежном пространстве Самуил Рубашкин…

Андрей Николаевич Москвин произвёл на меня одно из самых сильных впечатлений за все пять лет, что пришлось работать в Ленинграде, он был удивительной, порой шокирующей, а в целом, действительно легендарной личностью той эпохи, где творили легенды сами о себе. Так уж получилось, что он рекомендовал нам Самуила Рубашкина на многие годы.

## *III. Легенда о клоуне и клоунаде*

Как-то я заявил, что самое любимое мною действо, это искусство циркового клоуна! (Я и сейчас так думаю.) Разговор шел вполне конкретный, мы начинали работу над фильмом серьёзным, драматического, даже трагического содержания, и потому я ожидал активного возражения, спора и саркастических замечаний главного оператора. Но Самуил Яковлевич как-то странно затуманился, кокетливо передернул плечами, чуть закатил глаза и сообщил, что клоун — это его первая настоящая любовь и профессия, которую для себя он выбрал, а позднее

неосмотрительно променял на кинооператорскую. — А фамилия тоже оттуда? — съехидничал я.

Он посмотрел на меня с сожалением и не ответил. Позднее я узнал, что эту фамилию носил и его отец — он тоже был Рубашкин… К чему бы я это вспомнил?., не знаю. Но, наверное, неспроста.

Эта беседа тогда приняла неожиданно мирный оборот с грустными воспоминаниями, а чаще мы спорили и даже ссорились, редко уступая друг другу…

1967–1968 гг.

Наступало время политических, экономических, социальных, уголовных и сугубо художественных клоунад. Но у всех у них была особенность — во всех присутствовала крайняя эксцентрика, но эксцентрика, как стало казаться, странная — несмешная.

На аренах мира обычно выступают разные клоуны — одни одарены больше, другие меньше, бывают очень талантливые, даже гении… (но редко!)… А вот никогда не бывало такого, чтобы, как у нас, сразу на всех аренах выламывались исключительно бесцветные и соревновались бы преимущественно в абсолютной бездарности. Ведь чем неповоротливее и косноязычнее был исполнитель, тем требовательнее он относился к восхищению так называемой организованной публики. А уж полупаралитики, те могли удовлетвориться только всеобщим и безусловным обожанием.

Тут были клоуны Белые и Рыжие, Лысые и вовсе Безголовые, Грустные и Жестокие, безмерно агрессивные, разнузданные, даже похабные: акробатические — фантастические — музыкальные… Каких только не было…

А тут валом пошли до одури нелепые и всё равно несмешные. В пору было заплакать, но и обычных слёз уже не оказалось.

Оставалось одно — лить слёзы искусственные, фонтанами, пускать струи откуда придётся и куда попало. Чиновники, как умели, изгалялись над нами и всё под неусыпным руководством самых ответственных — мрачнее и отвратительнее такой оттепели могла быть разве только сталинско-бериевская свинцовая капель (наподобие китайской пытки). Я понял — пора снимать эксцентрическую комедию. Рубашкин узнал об этом, подошёл и сказал:

— Хотелось бы опять поработать с вами.

А я подумал — «рисковый же вы, однако, дядя!» — и ответил:

— Только, чур, потом не плакать…

Он лукаво посмотрел на меня, чуть пожал покатыми плечами и заявил с вызовом:

— Согласен.

Так началась наша эпопея с фильмом-комедией «Крепкий орешек», похожая на громкий групповой и безумный выход на арену:

— А вот и Мы-ы-ы-ы!.. Здравствуйте, дорогие ре-бята-а-а! Драгоценные родители, А-а-а подраться не хо-тите ли!..

А ребята все великовозрастные, тупые, а родители мрачные и очень, очень злые. С ними не то, что шутить, с ними сидеть по разным клеткам и то опасно.

Но всё это было не начало — это было тяжёлое продолжение. Ведь позади остались и «Последний дюйм», и «Мост перейти нельзя», и скандальный разрыв с Рубашкиным в самом начале съёмок «Улицы Ньютона, дом 1»… И возвращение из Ленинграда в Москву…

## *IV. Кино — легенда.*

Казалось, больше всего в жизни Рубашкин ненавидел даже малое, даже скрытое угнетение, даже намёк на насилие. (А кто любит эти прелести?). Он болезненно воспринимал даже необходимую степень подчинения и какое бы то ни было руководство над собой, и всё это в **кино!** — системе самого сумбурного, всеобщего и, скажем прямо, гротескового подчинения. Притом, что профессия главного оператора в этом отношении достаточно уязвима.

Чахла и, доживая, издыхала хрущёвская оттепель. Надо признаться, мы в неё верили, он был много старше, скептичнее и потому верил меньше. Мы готовы были, с одной стороны, сражаться за неё, и нам казалось, что мы знаем, какой кинематограф ей необходим. А с другой стороны, мы все невероятно торопились, словно бессознательно предчувствовали её кратковременность. Торопились и нервничали — вот-вот опоздаем, вот-вот не успеем, вот-вот закроются ворота и захлопнется клапан. Так оно и случилось. Захлопнулось!

Не любил Самуил Яковлевич и обязательной подготовки к съёмкам фильма. Мы — Никита Курихин и я, волокли за собой хвост, может быть, излишней тщательности, дотошности, требовательности, фронтовой жёсткости и безапелляционности в обращении с людьми и в отношении к делу. Он же постоянно привносил в работу и отношения немалый элемент небрежной вольности, анархии и богемы. Следовало бы учесть и то обстоятельство, что он был в традиционном кино достаточно опытен и был убеждён, что всё главное уже открыто, а всё не открытое либо не обязательно, либо от лукавого. При этом он не

был чужд некоторой киночванливости и так называемой «славы довоенного кинематографа» с её легендами и анекдотами. Нас эта «слава» изрядно раздражала — ведь мы собирались не возрождать «Былую славу», а создавать нечто новое — иначе зачем было надрываться в этих урановых рудниках?

Мы часто подтрунивали, а то и больно цепляли друг друга:

— Вы, поручик, свои замашки бросьте, — говаривал он. — Это вам не «в лесу прифронтовом».

— А вы, Бубновый Валет, чуть полегче со своими капризами! Я родился на свет не для того, чтобы всё время угождать вам. Здесь не ВХУТЕМАС (шпильки обычно приходили сами и не самые деликатные).

Почему-то он всегда казался мне похожим на постаревшего бубнового валета. Рубашкин иногда посмеивался, но чаще раздражался.

В своей операторской работе он шел к результату через раздражение и сопротивление. А потом быстро отходил, умел легко прихвастнуть, дескать, «получилось недурно». И был чувствителен ко всякой профессиональной похвале — таял, становился благодушным и беззащитным.

Я его величал:

«Самый интеллигентный среди операторов».

Он меня — «Самый вежливый среди режиссеров».

Как мы собачились, Боже!..

С Никитой Курихиным и со мной Рубашкин снял два полнометражных художественных фильма, и тут он впервые в жизни хлебнул настоящей фестивальной славы — Приз «За лучшее операторское мастерство!». По-моему, он был счастлив. Мы были рады не меньше.

Потом он снял (только с Никитой) к/ф «Барьер неизвестности». Позднее, опять со мной, ещё два фильма. Уже в Москве, скандально нашумевшую эксцентрическую комедию о войне «Крепкий орешек» с Надеждой Румянцевой и Виталием Соломиным в главных ролях. На мой взгляд, Надежда Румянцева показала себя в этой роли как замечательная эксцентрическая актриса, даже клоунесса, а это самый редкий дар в актёрском деле. А Виталий Соломин сыграл свою первую иронически-комедийную роль и отлично её исполнил. Фильм имел очень большой по тем временам коммерческий успех, за что на режиссера и исполнителей свыше трёхсот газет и журналов Советского Союза опрокинули соответственное количество ушатов брани и помоев. Это в свою очередь снова и снова способствовало бурному росту успеха, особенно среди школьников, — они же газет не читают, — которые состязались,

«сколько раз и кто больше посмотрел!».

На стадионах при появлении Надежды Румянцевой уже скандировали: «Крепкий орешек!». А нас, создателей фильма, пресса костерила как отпетых пошляков и осквернителей боевых святынь! Такие непрерывные сражения на грани дробления челюстей и черепов на нашей отечественной художественной ниве называются творческими спорами и завидной бескомпромиссностью! Единственно, чего нам не могли припаять, так это ярлыки «тыловые крысы» — мы оба были фронтовики.

Потом ещё один фильм о войне, но уже вполне серьезный… Здесь были и успех, и награды, но синяков и шишек Самуил Рубашкин в работе со мной наполучал куда больше, чем пресловутых похвал и наград. При этом можно похвастаться: после очередной неприятности и финансовой репрессии он огорчённо сказал:

— Знаете, я лучше с вами потеряю, чем с ними найду…

И это при том, что он вовсе не был безразличен к презренному металлу и особенно — к его частому полному отсутствию.

Тем не менее, мы продолжали работать вместе, расставались ненадолго и встречались вновь на съёмочных площадках.

Если бы сложить сегодня все фильмы, снятые оператором Самуилом Рубашкиным, можно было бы сказать: «Ни много, ни мало. Сколько дали ему, столько он и сделал — не рвался, не отнимал у других — он был человек в делах человеческих». Пусть память о нём будет долгой и доброй. Наверное, есть ещё люди в кино, которые сегодня, услышав о Рубашкине, сказали бы искренне доброе слово о нём. А среди любителей живописи и подавно.

## *V. Легенда о главном*

Самуил Яковлевич Рубашкин хорошо знал, что я давно увлекаюсь современной живописью, может быть, однобоко, может быть, странно и ограниченно, но увлекаюсь. Эрнест Хемингуэй был одним из первейших авторитетов нашей молодости, и я не был оригиналом, всегда помнил его строгое наставление: собирайте, мол, своих современников, а не тех, которые уже и без вас знамениты. Да и не по карману они вам будут — знаменитые — что-то в этом роде было у Хемингуэя.

Знал Самуил Яковлевич и о моих постоянных контактах с московскими художниками и кое с кем из ленинградских, величаемых авангардистами, формалистами, мазилами (это

позднее они стали «неформалами»). Известны ему были и мои особые увлечения молодыми художниками Анатолием Зверевым, Дмитрием Плавинским, Альбертом Гогуадзе. Их картины и офорты заполняли стены моей небольшой комнаты в коммунальной квартире в центре Москвы. Ведь все мы, даже в периоды наибольших финансовых провалов всё же были куда обеспеченнее бедствовавших молодых художников. Уж это точно. Но он также знал и то, что я ни разу, ни одного раза, не проявил интереса к его собственному живописному творчеству. Даже стыдно признаться!

Откровенно говоря, я не хотел ещё одной какой-либо размолвки с Самуилом Яковлевичем — художники народ обидчивый, а он был художник. Если мне не понравится то, что он рисует, пишет, даже малюет, наши отношения дадут, обязательно дадут, дополнительную трещину. Да и не ждал я там ничего особенного, я терпеть не мог дилетантского наскока, приблизительности там, где больше чем где бы то ни было требуется безупречный профессионализм, чувство соразмерности. Одним словом, принципиален был изрядно!

Тем более что Самуил Яковлевич в процессе подготовки к съёмкам и во время создания фильма старался в руки не брать карандаша, и ему это всегда удавалось. Все, кому придётся, делали почеркушки, наброски, раскадровки и схемы мизансцен. Все, даже я, вовсе не умеющий рисовать. Все, но не Рубашкин. Только на словах, только скептически глядя на собеседника — «Ну, что ещё вы там напридумывали!», — словно мы подрядились убеждать его, уговаривать, чтобы он снизошёл, понял и простил нас неучей!..

Поверьте, выдержать всё это было нелегко. Так же, как нелегко нарушать благостные традиции добропорядочных вспоминателей.

Итак, я упорно не интересовался его живописными пристрастиями. Шли годы — я молчал. Его живопись уже всерьёз хвалили художники, блуждали туманные слухи о некоем своеобразии и незаурядности его таланта…

Однажды он спросил:

— А не хотелось бы вам (имя, отчество и величальная ироническая приставка вроде «мэтр» или «маэстро») посмотреть на то, что я там «творю» и малюю?..

Вид у него был такой, словно ему было ровным счётом наплевать на мой ответ, или он заранее знал дежурную фразу — «Да-да, обязательно как-нибудь в ближайшее время!». Впрочем, вся интонация приглашения зацепила меня.

— Кофием-то хоть напоите? — спросил я.

Кофе был в дефиците.

— Пожалуй, найдётся, — пообещал художник.

— Раз такая щедрость, то поехали.

В работе у нас был обычный затяжной перерыв, мы друг от друга не зависели, нашим отношениям ничто не угрожало. Его болезненное самолюбие я, кажется, научился не тревожить без особой нужды, а он стал понимать, что мои наскоки не всегда определялись только скверностью характера. Тут следует отметить, что сам Самуил Яковлевич в обыденной жизни хоть и был человеком достаточно чутким, мягким и покладистым, в рабочей круговерти отнюдь не был таким уж осторожным в обращении с коллегами, а порой становился желчным, уничтожительным и вовсе несносным. Мы были обоюдно круты, расходились, разлетались с треском и потом долго отыскивали друг друга в немыслимом пространстве. А с годами постепенно обнаруживали, что относимся один к другому гораздо лучше, чем предполагали раньше.

Я смотрел на его рисунки, наброски, живописные картоны, холсты и — о, ужас! — ни один «фибр» души моей не шевельнулся. Как бы непроницаем я не был, в конце концов, он всё равно поймёт… Нужно будет что-то произнести, а сказать мне в этот вечер было нечего… Правда, впереди был кофе, и я больше всего надеялся на его загадочные свойства. — «Ну, кто я такой, чтобы что-то оценивать, ставить в тот или иной ряд, поднимать или опускать?.. И какой свиньёй надо быть, чтобы безапелляционно присваивать себе это право?! Весь мир только и делал, что ошибался в оценках произведений искусства. Ошибался и ошибается! И всегда с наглой, заносчивой рожей!.. Негодовал я не только на мир, не только на себя, но и на Рубашкина: «Почему это ему обязательно нужны оценки?.. Это либо игра необузданного тщеславия, либо какая-то неудовлетворенность всей прожитой жизнью…».

Так я думал. Или приблизительно так. Но мысли не приходили в соприкосновение с картонами и листами, которые я рассматривал. Я искал в них хоть что-нибудь, хоть намёки на вопросы и ответы. И скажу как на духу — не находил.

А может, он и не собирался мне отвечать?.. А, может быть, ему просто хотелось быть понятым одним из своих, пусть не самых близких товарищей?.. Вот и всё… Может быть.

Потом я рассматривал его работы ещё раз. Собрался уходить… Направился к двери и спросил:

— Самуил Яковлевич, а здесь что?

Эта была некая бестактность — на мольберте стоял метровый горизонтальный холст в подрамнике, завешенный куском старой

материи. А раз завешен, то и нечего вторгаться…

— Эт-т-то? — Самуил Яковлевич размышлял, стоит ли сыпать бисер перед режиссерами? — Это… неоконченное, но…

Рубашкин откинул тряпку с выражением лица пожилой девственницы, решившейся на стриптиз…

Его работа, на мой взгляд, была готова к демонстрации. Но тут художнику всегда виднее, за исключением тех психов, что поначалу делают великолепную работу, а потом совершенствуют её до тех пор, пока не замусолят окончательно.

Это был не тот случай — картина была проста, почти как детский рисунок (но учтите, я сказал «почти»!).

Фронтальная композиция, вся развёрнута на зрителя: дом, окна, двери, скамейка перед домом, дети; преобладает серо-серебристый колорит, редко достижимый в живописной палитре; в каждом окошке по персонажу, и на скамейке справа тоже сидят… Наивно, просто, чисто, прозрачно — покой и равновесие — ничего лишнего, и больше ничего не нужно. Тишина.

— Знаете, Самуил Яковлевич, — проговорил я, — могу сколько угодно ошибаться, но это готовое полотно… И великолепное.

Он ждал всего чего угодно, но только не этого. На его лице было смятение. Мне стало стыдно… (неужели ничего хорошего от меня он так и не ждал — ни единого доброго слова?!)

— Да?.. Вы так считаете, — с трудом произнёс он.

— Вот так и считаю.

— Это моё детство… Когда было три-четыре года… В Витебске… А это всё мои родственники…. Я их помню такими… А вот это я… Меня рано увезли оттуда…. Последнее время, знаете, всё возникают явления раннего детства… И так отчётливо. — Никогда прежде он не был со мной так откровенен.

Под одним из персонажей была аккуратная подпись красивыми буквами еврейского алфавита чёрной краской.

— А это что?

— Здесь написано: «Это моя тётя»… Знаете, мне захотелось под всеми персонажами сделать такие надписи. И тогда будет всё закончено. Как думаете, это не испортит?

— Да пишите, что хотите — всё равно здорово.

— Значит, вам нравится?

— Очень, — я был предельно искренен и даже любил его.

В этот момент он, пожалуй, тоже любил меня и не скрывал этого. Потому что мы любим людей, которые любят наши творения. И готовы простить этим людям многое. Почти всё.

Так началась еврейская серия полотен Самуила Рубашкина. Одна картина за другой, но не вдруг, а постепенно, по мере

возникновения в круге его воспоминаний.

— Так хочется вытащить из памяти всё, что там осталось, — говорил он. — Но это не тот известный всему миру Витебск Шагала, это другой… Как странно, самое интересное и самое значительное, оказывается было в детстве. Всё, что потом — уже не то… Я не защитник своему народу, вы знаете… Но написать то, что помню из детства, я вправе. Должен… Хотя бы своим близким… Знаете, ведь я когда-то учился во ВХУТЕМАСе, — произнёс он совсем неожиданно.

— Это всё оттуда?

— Нет-нет. На холсты выплывает и ложится то, чего раньше не удалось сделать. Слишком много сил и времени ушло на постоянное доказывание, что ты не верблюд.

— Ну и как? Доказали?..

— Нет.

Эта серия холстов вскоре стала в Москве знаменитой. А потом и не только в Москве. Как это произошло, расскажут другие. И о скандале перед открытием выставки на ВДНХ. У нас почему-то обычно скандал претворяет всякое культурное действо, и часто на этом всё заканчивается. Но тут было несколько иначе.

На выставку пригласил меня художник Анатолий Зверев. У него, против обыкновения, оказалась пара пригласительных билетов. Он важно провёл меня сквозь сплошные милицейские кордоны и ограждения. Очередь уходила за горизонт. В глубине оцепления виднелись крупные чины, полковники и даже один генерал. Для Зверева это был гражданский и воинский подвиг одновременно — он панически боялся всякой милиции — для него все чины были очень опасны и чем ниже чин, тем опаснее. Для Рубашкина, как для живого, так и для почившего, оказалось как раз наоборот.

Накануне открытия выставки все картины Самуила Рубашкина были сняты с экспозиции, вслед за снятыми работами Анатолия Зверева. Зверевские работы сняли без всяких объяснений, так уж повелось, а рубашкинские сняли с пояснительными текстами: «Еврейских картин на выставке не будет! Этого ещё не хватало!.. Всё, что угодно, любое безобразие, но контрреволюции, порнографии и еврейских воспоминаний не будет!». И чувствовалось, что это последняя черта для руководства, тот рубеж, за который им ступать запрещено. Да и по собственному разумению тут они костьми лягут, но не отступят! На этот счёт там, внутри организма, спецорган выпестован — можно не беспокоиться: «Партийной совестью» называется.

Но вот тут-то и произошло нечто уж совсем неожиданное —

художники разных мастей и взглядов, разных направлений, даже антиподы, даже из враждующих групп, совершили запредельное (ведь выставка была собрана и открыта с такими неимоверными трудностями!) — художники Москвы, не разрушая самой экспозиции, собственноручно развернули свои полотна живописью к стене и открыли зияющие тылы своих поло-ген в физиономии запретителей — своеобразное повторение жеста запорожцев турецкому султану — На-ка, выкуси! — А то и того похлеще… На пустующих тылах появились надписи:

«Экспозиция закрыта до возвращения властями основной работы!» (и нарисована улетающая птичка).

«Выставка не откроется, пока не вернут работы основных авторов!»

А речь шла о двух-трёх портретных работах Анатолия Зверева да о пяти полотнах Самуила Рубашкина плюс один его автопортрет.

Даже не верилось, до какой степени всё было нелепо, но так оно и было. Несмотря на всю сумятицу, ругань газет и радио-вопли, это был звёздный час Самуила Рубашкина — здесь, если не по гамбургскому счёту чистой живописи, то по счёту человеческой совести, элементарных требований свободы творчества, по счёту человеческого достоинства, эти два художника волею запрета встали рядом.

Хоть сами они — живой тогда Зверев и уже ушедший Рубашкин — к этой борьбе прямого отношения вовсе не имели. И тот и другой в борцах не числились, а были предметом этой борьбы.

На этот раз — О**, чудо!** — победили художники. Выставка открылась, а наряды милиции и присутствие чинов до генерала включительно придавали ей оттенок временного перемирия на поле брани.

Везёт же нашей живописи и скульптуре — ведь в открытом бою с ними сражались отборные части официальных и наёмных идеологов, усиленные наряды милиции, силы государственной безопасности и даже по-литорганы доблестной армии!.. А все остальные бойцы, от рядовых наводчиков до маршалов окружений и разгромов, прятались в штабах, подпольях и неисчислимых резервах.

Слава всем! Победителям и побеждённым. Пусть падают цветы, пусть гремят оркестры, и среди бравурных маршей и бешеных кадрилей пусть капельмейстер не забудет исполнить траурный марш — «Памяти художника».

## *VI. Легенда о портрете — три пары глаз*

Представим себе бесконечно большое крыло, уходящее в космическую даль — это прошлое. Представим себе другое крыло, улетающее в противоположную сторону, не лучше, не хуже первого, это второе крыло — будущее. А на стыке этих двух огромностей находится мгновение — настоящее. Какая малость — вот оно только что было, и вот уже его нет. Из-за этой малости весь сыр-бор! Хрупкое, непрестанно возникающее и тут же исчезающее и есть **жизнь.**

Самуил Рубашкин всегда знал, что его время (лично его) — это спрессованное время всей его жизни, и нет разницы, в какой момент ты его рассматриваешь, или рассказываешь людям и для людей.

Так я сегодня смотрю на полотна Самуила Рубашкина.

Они принадлежат спрессованному времени прошедшего, настоящего и будущего.

«Портрет с шестью глазами» — это его портрет:

— одна пара глаз младенчески незатейливо, но всё равно пытливо смотрит на мир и дивится ему, без малейших покушений на присвоение — ребёнок знает природно, кому этот мир принадлежит, и не претендует на его захват;

— другая пара глаз — хищный взгляд кинооператора, он смотрит на весь мир через окуляр кинокамеры, но ограничен рамкой кадра, но всё равно тут бушуют страсти — эта пара глаз хочет всё видеть, опередить всех, всё присвоить и представить людям, обозначив в титрах своё имя;

— третья пара глаз — взгляд художника, который всю свою жизнь (вплоть до выхода на пенсию) смотрел на мир и не писал его, не фиксировал, не захватывал, не присваивал, а когда стал понимать и любить (не раньше!), тогда осторожно взялся за кисти, краски, холсты, собрался с духом и сделал всё, что задумал, всё, на что был способен. И всё это оказалось главным, нужным людям, и не чужим.

Три пары глаз.

Портрет с шестью глазами.

## *Постскриптум*

В энциклопедическом кино-словаре есть много названий и имен на букву «Р», а Рубашкина С. Я. нет…

Наши словари избирательны странно. Если вы сейчас читаете этот текст, то вы знаете, что о нём уже написано нечто как о выдающемся художнике-живописце. А как о кинооператоре — только попутно. Между прочим, зря, он и в кино сделал немало и

почти всегда отличался отменно высоким художественным вкусом, превосходным и выдержанным стилем, был мастером выразительности.

Вот список фильмов, где он выступал в качестве главного оператора:

«Закон чести», 1936 г., «МОСФИЛЬМ», реж. Б. Иванов и А. Столпер.

«Жди меня», Алма-Ата, реж. Б. Иванов и А. Столпер.

«Последний дюйм», 1959 г., «ЛЕНФИЛЬМ», реж. Т. Вульфович и Н. Курихин.

«Мост перейти нельзя», 1960 г., «ЛЕНФИЛЬМ», реж. Т. Вульфович и Н. Курихин.

«Барьер неизвестности», 1962 г., «ЛЕНФИЛЬМ», реж. Н. Курихин.

«Сказка о потерянном времени», 1964 г.

«Тридцать три», 1966 г., «МОСФИЛЬМ», реж. Э. Климов.

«Крепкий орешек», 1968 г., «МОСФИЛЬМ», реж. Т. Вульфович.

«Товарищ генерал», 1974 г., «МОСФИЛЬМ», реж. Т. Вульфович, оператор-постановщик С. Рубашкин совместно с Э. Абрамяном.

# В эпицентре урагана

## *Явление*

Он не входил — он всегда являлся! Недаром же каждый выход актёра на сцену в драматургическом произведении называется — ЯВЛЕНИЕМ.

Если бы кто-нибудь из студентов на занятиях попробовал записывать за Борисом Андреевичем, он бы рассмеялся или обругал. Можно спросить его учеников:

— Нет! Ни одной записи. Ты, что, не помнишь? Едва он являлся, мы тут же забывали обо всём на свете — сидели и слушали, и смотрели во все глаза… «Рот, рот прикрой на всякий случай» — говорил он.

— Не так, не та-ак! — Бабочкин останавливает репетицию.

— А… прошлый раз, Борис Андреевич, Вы говорили, как раз так.

— Да, говорил. Ну и что? Ты слушай и делай то, что я сегодня говорю. А не вчера.

Его правдивость была дерзкой, а упрямость суровой и непреклонной… Так и кажется, что он вот-вот поймает тебя на фальшивой ноте и скажет: «Ну уж и хватил… Куда это тебя, братец, понесло?».

Бабочкина бесконечно интересно было наблюдать и не менее заманчиво показывать. Ведь у него всё-всё было своё — завершено, выразительно, точно. Даже сидел он за студенческой партой широко и удобно, рядом с ним всегда оставалось свободное пространство, его невозможно было занять, оно казалось заполненным…

По коридорам он двигался, словно фрегат под парусами. С ним невозможно было столкнуться даже в институтской толчее — его издали не столько узнавали, как отличали и расступались, а он, чуть приподняв голову, плыл своим курсом… Его протянутая рука опускалась откуда-то сверху, и была продолжением его приязни, равнодушия или холодности. Его симпатия неизменно излучала тепло, настоящее, ощутимое. Так же как и его неприязнь веяла арктическим холодом и была, как сухая изморозь, колючей. Порой даже пугала вовсе непугливых.

— Что-о-о?! — Выкрик раздавался на самой высокой ноте и производил впечатление удара бича или выстрела— это означало: произнесено что-то несусветное, какая-то пошлость.

Сильнее этого «Что-о-о?» было, разве уж, тяжелое молчание и

долгий уничтожительный взгляд…

## *Фразы и жесты*

Все люди на земле делятся на две категории, — говорил он, — актёры и не актёры. Надо только уметь распознать… Актёров надо учить два года. Одаренному больше не надо. А вот способному надо четыре. И то мало… Чтобы они успели обнаружить, что пошли учиться не туда. Ну, зачем, скажите, плодить несчастных людей?.. Ведь учат-учат… Выучили девочку, а она уже состарилась.

Вот есть такие актёры, их надо хвалить, хвалить, по головке гладить… а то скиснет, скукожится… А есть такие, что их надо то ругать, то хвалить, то ругать… А вот есть ещё такие, что надо подойти и дать ему как следует по шее! Только после этого он заиграет… — подошёл, звезданул ему раскрытой ладонью по шее, не очень сильно, но и не слабо, и, представьте себе, — заиграл, вполне прилично заиграл, и до сих пор играет!

— Актёра надо уметь вовремя бросить на глубину — или выплывет, или утонет. Это способ обучения! А то ведь так и зайца можно научить спички зажигать. Только зачем?.. Это же тоска!.. Помрёшь!.. Вот зритель и помирает. Где?.. В театре! От тоски.

В сезон 1948–49 годов, по причине чрезмерных идеологических забот о репертуаре и по другим мало исследованным причинам, зритель отодвинулся от театра, и во многих залах образовались отвратительные пустоты — Бабочкин не мог говорить об этом спокойно.

— Реализм в театре есть, — говорил он внешне предельно сдержанно. — Сколько угодно реализма! И правда есть… (актёрская). Всё есть… А вот зрителя нет. Нет зрителя в театре!.. Тю-тю-ю!.. И это после такой войны… Подумайте, ведь у нас по всякому поводу, даже трагического свойства, люди всегда кидались куда?.. К театру. Как за спасением — ночи напролёт простаивали в очередях за билетами. И были всегда хоть как-то вознаграждены…

Услышав неразборчивую или ленивую речь, выкрикивал:

— Что-о?! Непонятно! — И вслед за французом Кокленом повторял: «Дикция — это вежливость актёра». Твоя речь со сцены должна быть слышна до последнего ряда галёрки: Он заплатил свои кровные… И извольте!.. А то эти театральные шептуны распространяют «жгучую правду» не дальше шестого ряда партер-р-р-а… — И все мы знали, кого он имел в виду.

Становилось ясно: не только актёры — все вежливые люди

всегда стараются говорить так, чтобы их понимали без затруднений, даже больные, даже косноязычные стараются. Это прохиндеи разных мастей кодируют свои благоглупости наигранным заиканием, цежением, замысловатыми словцами и прочей чепухой. Вот и выходит, что дикция — это ещё и уважение собеседника, соблюдение его достоинства, степень твоей демократичности.

На игровой площадке студентка долго стоит у окна и никак не может начать сцену (это обычная репетиция в аудитории).

Бабочкин (терпеливо):

— Ну, почему ты не начинаешь? Студентка (чуть высокопарно):

— Мне нужно собраться.

Бабочкин (с оттенком выкрика):

— Собираются в баню! Начинать надо сразу. Ну!.. И как в омут! В роль надо уметь влезать, как в шлёпанцы спросонья — мгновенно… Не раздумывая.

Любовная сцена не ладится, идёт вяло, смысл происходящего ухватить трудно, Борис Андреевич останавливает репетицию, обращается к ней:

— Ты его любишь?

Студентка улыбается, жеманничает.

— Нет, я серьёзно тебя спрашиваю: Ты… Его… Любишь?

Студентка (вяло и бесцветно):

— Н-н-у-у, люблю-ю…

Бабочкин (энергично):

— А ну, уходи с площадки. Во-он!.. — Передразнил её: «Ну-у, лю-ю-юб-лю-ю». Да это я на каждом шагу вижу. Это не для сцены… «Люблю так, что дышать без него не могу! Люблю так, что вот сейчас умру!..» Правда, вот из-за такого, — кивнул в сторону её скучного партнёра, — если и умрёшь, то от тоски… А ну, всё с самого начала! Я вам покажу «Ну-у-у, лю-б-л-юю…»

Смех возникал не тогда, когда Борис Андреевич рассказывал (говорил он обычно очень мало), а когда начинал показывать. Вот тут держись! — хохот стоял в аудитории, доходящий до восторга… А порой и оторопь брала, и холод пробегал по спине… Времена были не только скучные, но и страшные. Правда, после его показов выходить на игровую площадку было опасно. Его показ был не для подражания, не для повторения (тут усилия были бы тщетны), а для одномоментного раскрытия смысла и образа. Это нужно понимать… Фёдор Иванович Шаляпин высказал такое суждение: хороший режиссёр — это такой режиссёр, который может коротко и ясно объяснить; если его не понимают, то сразу показать, «а всё остальное, по-моему, Костя

напутал!». Он имел в виду своего близкого друга Константина Сергеевича Станиславского, который, как известно, сам не стеснялся — показывал. И делал это великолепнейшим образом.

Однажды Борис Андреевич увидел, как на тесную игровую площадку неуклюже выносят гроб. Он тут же встал и, несмотря на экзаменационную тесноту, демонстративно вышел. В коридоре с оттенком нетерпимости он произнёс:

— Дураки бесстыжие, думают, что всё им дозволено. Наглецы!..

Много позднее, словно в продолжение этой мысли, сказал:

— Между жизнью и игрой на сцене — самая малая разница, а есть. Её надо знать. И соблюдать… А нет ума, так чувствовать надо. И уж, во всяком случае, не лезть со своей дуростью и с гробом на сцену… Разница между правдой жизни и правдой сценической ЕСТЬ: в жизни она засорена случайностями, шелухой, а в искусстве она создаётся вымыслом заново. Эта правда стройнее и достовернее той, что в жизни… Но не у всякого паскудника получается, — он имел в виду всё ту же персону «с гробом».

Может быть, кто-то и догадался…

После очередной неурядицы в разговоре о женственности, Бабочкин сказал:

— Как можно жалеть о том, что безвозвратно ушёл в прошлое весь девятнадцатый век с его множеством уродств и несправедливостей? Ну, сами подумайте… Как можно не жалеть о том, что безвозвратно ушли в прошлое ТУРГЕНЕВСКИЕ ЖЕНЩИНЫ?! И сознавать, что их уже никогда не будет…

Надо было видеть *и* запомнить ту неизбывную тоску и душевную боль, которые мимолётно посещали его, и которых он не скрывал — и как большой артист умел выразить минимальными, еле обозначаемыми признаками…

## *Признание*

Это то, о чём говорили, но чаще не договаривали, полагая, что впереди уйма времени, договорим в следующий раз. Это то, что Учитель оборвал на полуслове, а ученик не успел или не посмел переспросить…

Мы не научились ценить отпущенное нам время и не научились прощаться серьёзно и вовремя. Такое впечатление, что мы готовы, пробегая мимо мастера, крикнуть ему дружелюбно и весело: «Надеюсь, Вы в следующий раз раскроете мне секреты своего мастерства, а заодно посвятите в тайны бытия и

мироздания?!».

На ходу… Пробегая мимо… Как в одной из притч о Будде.

«…Не верьте мифам об искусстве… не верьте мифам и словам не художника об искусстве. Доверитесь ли Вы в штормовом открытом море человеку, который возьмётся вести ваш корабль, не имея ни малейшего понятия о мореплавании?.. Искусство не менее сложное и опасное ремесло, чем кораблевождение в штормовую погоду».

Нельзя упрекать Учителя, если ученику не хватает проницательности, восприимчивости, не говоря уже о способностях и таланте. Ученик — явление редкое.

Настоящий Учитель — большое счастье и большая редкость. Но каким бы редкостным явлением ни был настоящий учитель, здесь нас подстерегает парадокс — «в мире никогда не было нехватки учителей, миру всегда не хватало учеников».

Обучение мастерству, видимо, это процесс, уходящий корнями в вечность. Так и хочется сказать, вслед за теми, что уже сказали: «Когда умрём — увидим».

Уж так повелось, что все мы должны идти туда в одиночку, мудрость этого ухода заключается в том, что мы должны это сделать хорошо и с толком. Чтобы смерть была переходом из одного состояния в другое, или точнее — чтобы твоё сознание, твой опыт, твой талант вышел на новый, более высокий уровень бытия — нужен преемник. Пусть даже не твой ученик. Пусть даже не ученик твоего ученика. Пусть просто другой ЧЕЛОВЕК. Сонм учеников не решает проблемы. Тут количеством не возьмёшь… Ничто не должно пропасть, даже в самом эфемерном искусстве, но зато в самом великолепном и действенном — искусстве актёра.

## *В аудитории*

После того, как долго репетиция не клеилась, Борис Андреевич сам вышел на площадку. Всё мигом ожило и даже у неумелого студента стало кое-что получаться. И тут студент спросил:

— Почему же у меня вот с ним ничего не получалось, а с вами получается?

— Никто тебе толком этого не объяснит, но с сильным партнёром все, даже плохие актёры играют лучше, а о хороших и говорить нечего. Всё дело в посыле. От партнёра очень многое зависит. Вот в цирке, когда жонглируют — поймать всякий дурак может. А вот хорошо кинуть! Точно, ритмично кинуть… Вот где

фокус!.. Но и поймать тоже уметь нужно. Ты думаешь, что зритель, который пришёл в театр, обязан на тебя смотреть во все глаза? Нет. Он может сидеть вот так! — Борис Андреевич отвернулся к окну, стал смотреть в сумеречную даль. От окна доносился его голос, словно возвращающийся из странствий. — Это твоя обязанность повернуть зрителя к себе (жест точно указывал, как следовало повернуть зрителя — и аккуратно, и властно, и при этом не свернуть ему шею).

Он продолжал смотреть через мутноватое оконное стекло в вечернюю пасмурность, как будто ушёл… И оттуда, издали тихо прикрикнул:

— Ну?.. Пробуй. Пробуй…

Бабочкин:

— Говорят, уходишь из института? Это правда?.. Студентка:

— Да, Борис Андреевич, — чуть томно, с оттенком повзрослевшего достоинства. — ***Я*** выхожу замуж.

Ещё бы! Она выходила замуж самая первая на курсе.

— Выходи, милая, выходи… А потом всю остальную жизнь будешь рассказывать соседкам на кухне, как ты могла стать актрисой. И не стала. — Отвернулся от неё и, уже не скрывая досады, — …ну её… Давайте репетировать.

Репетиция долго не клеилась, всё расползалось. Бабочкин начал нервничать больше и больше… Потом внезапно обернулся к ней и ласково произнёс:

— Ну чего сидишь? Только время теряешь… Себя изводишь. И нас… Иди, иди… Иди замуж.

Как будто она изменила не только своему призванию, но и ему лично… как будто она бросила его больного в заснеженной степи.

А когда всё понемногу наладилось, снова воодушевляясь, радостно сказал:

— … Шлейф. Это то, что актёр приносит с собой… Его багаж. Это предистория. То, что было ДО… — того мгновения, как он появился на сцене… А ну… Без слов!.. Вот вышел на сцену, и в зале все сразу почувствовали, что там с тобой что-то случилось. Что-то произошло… Что же там случилось? А?! Это же самое интересное… Шлейф!.. Он и после ухода остаётся.

Бабочкин умел одной фразой содрать шкуру со своего противника или оппонента. Этот удел не миновал многих. Однажды на занятиях в институте кинематографии студент, не без скрытого ехидства, неожиданно спросил:

— Борис Андреевич, а кого Вы безоговорочно чтите? Непререкаемо… Целиком?

Аудитория притихла в испуге — наглость была явной.

Лицо Бабочкина неожиданно просветлело до ясности, и он почти по буквам произнёс:

— Иллариона Николаевича Певцова. Это Мой Учитель! — Он так и произнёс, каждое слово с большой буквы.

Борис Андреевич обычно стеснялся пафосных выражений и старался избегать их, даже когда без них обойтись было трудно. Но тут он сказал слово «Гений». Относилось оно к Константину Сергеевичу Станиславскому. А вот дальше заметил:

— … что же касается системы Станиславского, то тут всё обстоит ку-у-уда сложнее. Пока свою систему преподавал сам Константин Сергеевич, всё было на своём месте. А вот после него почему-то систему Станиславского стали преподавать актёры, которые сами играть как следует не умеют; режиссёры, которые ставить спектакли как следует не умеют… «Система» — это человек со всеми своими знаниями, навыками, опытом. Мастерством.

Позднее я прочел в статье Б.А. Бабочкина о его учителе И.Н. Певцове: «.. Я до сих пор не понимаю, как систему Станиславского может преподавать не Станиславский!»

Паузы у Бабочкина (сценические паузы!) — это были не знаменитые игры в молчанки — кто кого перемолчит на сцене. Ну, разумеется, в молчании, наполненном «глубоким драматическим содержанием!». У Бабочкина паузы были всегда стремительные, в них бился бешеный пульс, чувства каскадом сменяли одно другое, и вот тут ярче, чем где бы то ни было, проявлялась его пластика! Даже полная неподвижность у него была крайне выразительна и динамична. Паузы у Бабочкина — это всегда живое биение духа.

Бабочкин:

— Смелее! Смелее и громче!

Студент:

Я боюсь переиграть…

Бабочкин:

— Какое там «переиграть»?! Ты хоть что-нибудь сыграй, ми-и-лый… Ну, переиграй, переиграй, пожалуйста… Прошу тебя! Не бойся…

## *За пределами*

Размышление первое: Творчество и Индивидуальность.

Да — ОНИ всегда рядом, всегда вместе, две стороны одного явления. Но — творчество не может проявляться в индивидуальном настырно, не должно превалировать. Оно

прекращается полностью, когда индивидуальность с её способностями, одарённостью, техникой и всем прочим становится господствующей.

Творчество не что иное, как движение сущности целого; оно никогда не может быть выражением части. Оно всегда — всё сразу!

Вот откуда рождается чувство неисчерпаемости образа. Вот откуда вырывающийся из самых глубин души единый вопль зрительного зала, как выражение беспредельного восторга — когда эта сущность целого прорвалась, когда акт творчества состоялся.

Размышление второе: о разрушении и о Созидании.

В творчестве разрушение необходимо. Разрушать надо не строения и вещи, но все психологические приспособления защиты: не Бога, а богов, верования, зависимость от опыта, знаний, оков и всего прочего. Настоящее творчество не может возникнуть без разрушения. Творчество рождается только из свободы.

Разрушение не для того, чтобы произвести новое изменение — изменение никогда не бывает новым, изменение — всегда модификация старого. Нужно полное разрушение того, что было, чтобы оно никогда не смогло бы снова быть! В этом разрушении — суть творчества.

Творчество не является абсолютным миром. Оно хоть и чисто, но предельно разрушительно. И только так приходит НОВОЕ.

Бабочкин умел разрушать без пощады — это и было молодостью великого артиста. На расчищенных, освобождённых пространствах надо было возводить нечто, ни на что не похожее, как казалось, невиданное!.. И вот тут, оказывается, понадобился весь арсенал прошлого, и как строительный материал, и как точка опоры. Создав своё, новое, великолепное, совершенное, Бабочкин как бы заявил во всеуслышание: «Я не против нового. Я — за! Но не ценой уничтожения или разграбления всего того, что создано трудом и гением предшественников».

И ещё:

— Всегда слушай не то, что я говорил вчера, а то, что я тебе говорю сегодня, — это так прямо и было высказано.

## *«Гроза»*

Поздно вечером кончили репетицию сцены Катерины и Бориса из «Грозы» А.Н. Островского. В институте уже было пусто, горел дежурный свет, только внизу на первом этаже у гардероба

раздавались голоса. Исполнительница роли Катерины — очень милая, хрупкая и пугливая девушка, стремглав побежала переодеваться, по пустырю возле института одной ходить было страшновато…

Надевая плащ одним махом, а Бабочкин это умел делать широко, артистично, Борис Андреевич сказал исполнителю роли Бориса:

— «Куда нам с тобой, видавшим виды мужикам, добраться до этаких тонкостей… Ну, если не влюбиться в неё, то хоть пальто в гардеробе ты подать ей можешь? Будь к ней повнимательнее. А то ведь у нас ничего не получится… Ты, правда, подавай ей пальто в гардеробе… И проводи».

В сцене с поцелуями у Варвары с Кудряшом, мягко говоря, не ладилось.

— Всё-всё, что предшествует поцелую, пожалуйста, сыграйте до малейших подробностей, — Бабочкин показал и за Него, и за Неё (без партнера), а когда его лица уже не было видно, всё игралось только спиной и руками — казалось, что в его крепких объятиях трепещет та самая женщина, которую он только что создал своим воображением, — снова раздался приглушенный голос Бабочкина: — Вот как раз здесь вы можете отдыхать сколько угодно. Целоваться не обязательно. Даже желательно не целоваться — зритель и его заинтересованная фантазия сделают за вас всё остальное наилучшим образом… — Водворилась пауза… — А вот, выходя из поцелуя, снова всё-всё подробно, каждый штрих, каждое движение. Ничего не пропустить… — Борис Андреевич повернулся лицом к студентам, его лицо было лучезарно счастливо, он был одарён Ею, облагодетельствован… — И всё должно быть максимально выразительно. — Его голос уже был трезв и безразличен — это была техника мгновенных переходов не только к нулю, но и от нуля к «ста тысячам вольт».

Борис Андреевич Бабочкин — человек, который помогал и до сих пор помогает своим ученикам и тем, кто слушали и слышали его, преодолеть силу инерции, оторваться от стартового монолита, набрать определённую высоту, и всё для того, чтобы почувствовать себя в состоянии творческой свободы и относительно управляемого полёта.

— Я не могу вас научить. Только вы сами можете научиться. Вот для этого я здесь и нахожусь, — говорил он.

Однажды я осмелился спросить у Бориса Андреевича (осмелился, потому, что он очень тяжело шёл на такие разговоры) о главной, ещё не сыгранной роли в его жизни. Он ответил тут же, словно ответ был давно готов:

— Есть. Ещё никем не сыгранная — Лев Николаевич Толстой, его самый последний год жизни. Очень хочу. И знаю, как: Уход…

Ему это пришло в голову значительно раньше других… Образ роли был готов, ему недоставало возможности воплощения. В актёрской работе не остаётся набросков, эскизов, вариантов — всё сублимируется в готовой роли. Да и всё актёрское творчество до жути преходяще, оно складывается из актёра и его зрителя, а безвозвратно уходит и то и другое — остаётся только имя артиста и легенда. Легенды это самое достоверное. В легенде хоть не чувствуется выпирающая фигура автора. Если бы не кино, то вообще оставались бы наваждения, ненадёжные свидетельства исследователей позднейших времён, да капризные по своей сути воспоминания современников. Хорошо бы так и было… Но пока есть плёнка, она нам кое-что сохраняет и сохранит. Жаль только, что она не сохранит нам зрителя, его душевный строй и реакции, высоту его уровня восприятия и степень его ничтожества.

Борис Андреевич дерзости не шептал на ухо, он всегда говорил их вслух, да так, чтобы его слышали. Особенно те, кого это касалось впрямую. А голос был всепроникающий, он рушил барьеры, и нельзя было притвориться, что ты-де не расслышал. Он и глухого бы заставил услышать, если бы захотел. Об одном из самых влиятельных и опасно знаменитых временщиков в ранге кинорежиссёра сказал:

— Остерегайся этого субъекта — если он тебя дружески обнял и крепко прижал к груди — ищи нож между лопатками, — это была правда, но донельзя обнажённая.

Позднее я убедился в полной правоте предупреждения — «нож между лопатками» был обнаружен.

Можно себе представить, какие высоковольтные разряды пролетали порой по незатейливым помещениям художественных учреждений. После подобных откровений Борис Андреевич часто заболевал. Богатырским здоровьем он не отличался, но при любом состоянии — даже с высоченной температурой — на спектакли являлся неизменно. Ни отговорить, ни удержать его было невозможно.

Не всегда удавалось докопаться до оправдывающей сути его поступков — одно было несомненно, он был крайне раним, плохо защищен и излишне раскрыт в житейских сражениях, даже распахнут. «Небитым» его назвать тоже было трудно — он был бит, не раз и жестоко. А вот рубцы и шрамы старался скрывать тщательно.

Он умел убеждать всем своим обликом: излучающей свет внешностью, совершенной пластикой, чистотой и музыкальностью речи, простотой и ясностью смысла

произносимого. Для него вся жизнь и высокие требования к ней поднимались до значений космических, реализм и обыденность — до эпоса. Это были его нормы.

Всегда казалось, что Борис Андреевич, сообщая своим слушателям или собеседникам некие соображения, мало рассчитывал на сиюминутное понимание. Или вовсе на него не рассчитывал. Он бросал нечто глубоко продуманное или предположительное в пространство, швырял в свободный полёт так же легко, как, казалось, получал откуда-то, и будто верил только в то, что его слова сами когда-нибудь найдут понимание и пристанище. Только вот лёгкость была кажущаяся. И ещё он не верил, что таланты можно растить плеядами, когортами — он знал цену уникальности таланта.

## *Театр, кино и «тени»*

Ах, как это ново, и всегда с оттенком свежей краски, реплика: «Чапаев — да! Но ведь больше ничего на этом уровне Бабочкин не создал… И не сделает».

Пустые фразы профанов и выдающихся речителей-болтунов… Звезда светила Борису Андреевичу Бабочкину — театральному артисту — настоящая звезда! Не говоря о десятке знаменитых ролей в кино, не следовало бы забывать и о ролях, сыгранных на сцене театров: самозванец в «Борисе Годунове»; царевич Алексей в «Петре I», Чацкий в «Горе от ума» и Кастальский в «Страхе» А.Н. Анфиногенова, которого он играл на равных со своим учителем Илларионом Певцовым, Хлестаков в «Ревизоре» Н.В. Гоголя, в постановке А.Д. Дикого, заглавная роль лётчика в пьесе Киршона «Большой день»; и снова роли и роли в кинематографе… Наконец, Иван Выборнов, с блеском сыгран в его же фильме «Родные поля» — фильм, который по праву следовало бы считать, вместе с «Радугой» Марка Донского, одним из лучших фильмов об Отечественной войне, из тех, что были поставлены сразу, ещё по первым впечатлениям, и не подёрнуты флёром исторической и идеологической патины. Сначала молодой Влас, а позднее пошляк и воинствующий мещанин Суслов в «Дачниках» А.М. Горького (одна из любимых пьес Б.А. Бабочкина), Адам в пьесе Э. Раннета «Браконьеры» — целая поэма в одной роли; а старый солдат Грознов — «Правда — хорошо, а счастье лучше» А.Н. Островского — постановка Б.А. Бабочкина на сцене Малого Театра… — это далеко не полный перечень наиболее значительных актёрских работ, не считая множества театральных постановок в качестве режиссёра кинофильмов, преподавания в

институте кинематографии, его очень серьёзной литературной работы… А чего стоят его телевизионные шедевры последних лет жизни: профессор Николай Степанович в «Скучной истории» А.П. Чехова (1968 г.), Алёша Смолин в «Плотницких рассказах» В. Белова (1972 г.)… А Пётр Сергеевич Клаверов в пьесе М.Е. Салтыкова-Щедрина «Тени»? Это на уровне лучших актёрских работ мира; а монологи из «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина и его шедевр, прочитанный по Всесоюзному радио — «У лукоморья дуб зелёный…» — проще и лучше быть не может.

Не сцене театра им. А.С. Пушкина в Москве, на Тверском бульваре, в сезон 1953–54 года Алексей Дикий поставил пьесу М.Е. Салтыкова-Щедрина «ТЕНИ». Главную роль молодого высокопоставленного государственного чиновника Клаверова играл Борис Андреевич Бабочкин…

Хоть всё было сговорено заранее, но в театре свободных мест не оказалось. Я чувствовал себя скверно, оттого, что как-то нечаянно обременил Бориса Андреевича, но он пригласил сам и сказал кому-то из администраторов:

— Поставьте стул в четвёртом ряду партера. Не сбоку, а в центре.

Такое в театре делать не полагается, но так распорядился главный режиссер театра, и было так.

Какую бы пьесу с участием Бабочкина я ни смотрел, она неизменно начиналась для меня только с его появлением на сцене — всё предшествующее было подготовкой, ожиданием…

Клаверов остался на сцене один. Он задумался, а в следующее мгновение ему уже кто-то был нужен… Партнёр, что ли?.. Собеседник?.. Он метнулся к стулу, легко и бесшумно почти выбросил его на авансцену, присел на край — ну, прямо еле-еле касался этого стула — уже нашел собеседника и обратился прямо в зал к зрителю. Начался непривычный театр!.. Театр одного актёра и зрительского множества.

Клаверов Бабочкина «мерами даже самыми учтивыми», «которыми умел и придушить, и убить вовсе», на этот раз попытался этак распахнуться, порассуждать с народом, завлечь его, даже может быть посоветоваться, поучить и поучиться… — не только, де, либерализму, но и входящему в моду «демократизьму», на фоне сплошной бушующей бюрократии!.. И жест мягкий, и взгляд проникновенно-проникающий, и отличие от современных выдающихся чиновников разве что только в том, что произношение правильное, построение фраз безукоризненное, ударения в словах и фразах точные.

— Такие люди, как я, — сообщал Клаверов зрителю, — должны смотреть в будущее, а как посмотришь туда, иногда

голова закружится. (Я убеждён, что и сам Салтыков-Щедрин не мог мечтать об актёре лучше и выше). Да-а, тяжёлое переживаем мы время: страсть к верхушкам осталась прежняя, а средства достичь этих верхушек представляются сомнительные… — Клаверов даже просил сочувствия у зрителя, и обязательно искреннего. — Нынче старое не вымерло, новое не народилось, а между тем и то и другое дышит. — Он уже требовал от всех зрителей, всех до одного, совета, подсказки… — Умрёт ли старое, народится ли новое, где будет сила? — Ну, хоть мигните, хоть знак подайте, мнение выскажите хоть.

И не только в конце первого действия, но и дальше, через весь спектакль Клаверов словно останавливал сюжетное движение «Теней», устранял персонажи, раздвигал декорации и входил в какой-то таинственный холодный контакт со зрительным залом.

«Эти господа считают себя вправе делать всё, что им придёт в голову, — он будто раскрывал залу государственные тайны по поводу персон, облечённых высшей властью. — Да если рассудить хладнокровно, то и, действительно, имеют это право… Тут даже не борьба, тут просто подлая уверенность в своей не могущей встретить противодействие силе!»

Бабочкинский Клаверов проявлял «какое-то моло-деческое желание блеснуть изворотливостью совести» и в чиновничьей среде восторженных почитательниц и почитателей делал это с поистине артистическим блеском. Эту роль Борис Андреевич играл совсем не похоже ни на одну из своих ролей — особенно холодно, особенно отстранённо… Нельзя не вспомнить и не подчеркнуть, что этот спектакль в театре имени Пушкина ставил не сам недавно назначенный главный режиссёр театра Борис Бабочкин, а приглашённый им замечательный актёр и режиссёр Алексей Денисович Дикий — одна из праведных легенд русской сцены.

… Так вот, оценивая степень актёрской отстранённости Бабочкина в этой роли, следует вспомнить одну реплику в самой пьесе Салтыкова-Щедрина Софья Александровна (дама чиновничьего полусвета и любовница Клаверова) в развязке говорит:

— Вы странный, Клаверов! Вы играете кожей, а не внутренностями…

«Играя кожей», бабочкинский Клаверов, даже в самых напряженных ситуациях, ни разу не впрыгнул в привычную коляску открытого переживания, казалось, что подлинные чувства Клаверова не только не посещали, но он даже не знает, что это такое.

Чиновник средней руки Набойкин успокаивает своего мэтра

Клаверова по части гнусных поступков и его совести:

— Ах, полно! Ну, конечно, в первые минуты будет не совсем ловко.

А Клаверов ему:

— Но каково же мне будет прожить эти первые минуты! Ведь на этих первых минутах зиждется вся история, любезный друг! Я знаю, что впоследствии, то есть когда всё обойдётся, обомнётся и оботрётся, не только отдельный человек, но и целые народы забывают… забывают даже свое рабство, свой собственный позор, но первые минуты!..

Так вот, на театре всё, что происходит на сцене и в зале, всё — первые минуты. Всегда, как в первые минуты. Ведь на этих первых минутах зиждется вся история!.. Борис Андреевич Бабочкин всегда это помнил.

Затаившийся, страшный и всегда заносчивый чиновничий мир России, насчитывающий в совокупности чуть ли не трехсотлетнюю историю и намертво хранящий свои традиции, ничего не прощает. Он увидел спектакль, отметил его и встал на дыбы. Вон-де что: «Артист Бабочкин, вслед за великим сатириком Щедриным, решил выпотрошить этот мир до основанья?..» Ответный удар был хорошо организован и беспощаден. Сторожевые псы системы били, казалось, не жалея уже не то что создателей спектакля, но и самих себя… Бориса Бабочкина после того, как он сыграл одну из лучших своих ролей, выдворили из его же театра.

Человек, которому кинематограф принёс мировую славу, неизменно и верно любил театр и постоянно заражал этой любовью всех, с кем ему приходилось общаться. О театре и театральности Бабочкин говорил охотнее, чем на любую другую тему:

— Театр — это то, что происходит на сцене и видно из зрительного зала, а вот театральность — это то, что случается между тем, что происходит на сцене и тем, что происходит в зрительном зале, — театральность — это главное событие в театре. Это злободневность.

Так вот, на театре всякое «молодеческое желание блеснуть изворотливостью совести», как правило, не проходит незамеченным. Это тоже свойство театральности. Зрительному залу, даже состоящему из бессовестных людей — всему зрительному залу! — становится стыдно при неблаговидных поступках персонажей и, как это ни странно, реагирует зрительный зал всегда благородно и возвышенно, согласно мерилам общего сердца, совести и смысла. (Если, разумеется, не брать в расчёт политический театр и его наполненные залы

заседаний — там хороший актёр вообще большая редкость).

## *«Маленькие трагедии»*

В воспоминаниях М.П. Погодина есть строки о том, как А.С. Пушкин читал друзьям своего «Бориса Годунова»: «Вместо высокопарного языка богов мы услышали простую, ясную и между тем поэтическую, увлекательную речь… При стихах Самозванца

Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла.

в среде слушающих раздался взрыв восклицаний!»…

Уже, не говоря о содержании, наверное, голос и манера чтения А.С. Пушкина были потрясением для его современников. Для поколения 60–70-х годов нашего, двадцатого века потрясением было исполнение или вернее прочтение пушкинских строк Борисом Андреевичем Бабочкиным. Строки из «Бориса Годунова воскресают в моём воображении только вместе с голосом Бориса Андреевича. Это был органический сплав поэзии, ритма, музыкальности и той высшей простоты, что превосходит все изыски. Но ведь и простота — понятие, меняющееся со временем. Принципиально новое драматургическое произведение само по себе требует нового прочтения, как по смыслу, так и по форме, и по звучанию. Да ещё это вечно меняющееся понятие художественной правды… В дневнике Б.А. Бабочкина можно прочесть:

«… Начал учить монологи для вечера по телевидению, сколько раз принимался за Сальери и только сейчас начинаю понимать, что это такое. Начинаю понимать и «Скупого рыцаря». А вот «Бориса Годунова» пока ещё только приблизительно».

Несмотря на признание Бабочкина по поводу «Бориса Годунова» он был ближе многих других к раскрытию художнической отгадки А.С. Пушкина. В последние годы Бориса Андреевича так неумолимо повлекло, потянуло, даже понесло к Пушкину… он почти что клятву произнёс: «Если мне суждено ещё сколько-то дней и лет… то отдам их Пушкину. Александр Пушкин! как вселенная — с годами притягивает всё больше и больше, пока не почувствуешь абсолютную неодолимость этого притяжения…»

Тут следовало бы остановиться, перевести дух и подумать —

хватит ли аргументов, чтобы даже в относительном приближении подойти к объяснению одной из театрально- драматургических загадок, каковыми являются «Маленькие трагедии»?.. Мы уже не раз слышали пренебрежительные реплики вполне уверенных в своих силах деятелей:

— «Хватит! И что это за такие большие тайны с этими «Маленькими трагедиями»?! А не выдумка ли всё это, вообще?.. Вот мы им сейчас «Маленьким» покажем…».

И показывали.

Тем не менее, на сцене «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина, пока, не дались никому… В чём дело? Каким образом мгновенно исчезает их драматическое совершенство? Глубина вечных проблем? Заманчивость, которая неизменно оборачивается ловушкой для актёров и капканом для режиссёра? Почему вдруг на сцене, да и на экране «Маленькие трагедии» сразу перестают быть трагедиями, а порой становятся фарсом?.. Видит Бог, вина тут не автора. Но вот беда, вина тут и не режиссёров вместе с хорошими актёрами. Оставим эмоции в стороне, амбиции тоже, и попробуем порассуждать или повспоминать спокойно.

Хорошо было Вильяму Шекспиру, он каждую роль своей трагедии или комедии писал на определённого исполнителя, да и по-другому быть не могло в шекспировском театре — количество актёров определено, и у каждого актёра своё имя, фамилия, облик и в амплуа названы сценические возможности. А здесь всё совсем не так — А.С. Пушкин писал «Маленькие трагедии» в то время, когда в России настоящего не то что русского, а вообще подлинно драматического театра вроде бы и не было. Не было и какой бы то ни было актёрской школы драматической игры — всё держалось на природном даровании или, как теперь говорят, на биологическом таланте одного актёра, одной актрисы. И писал Пушкин **не** на определённых артистов, не для определённого театра с традицией, своим направлением и школой, а для некоего предполагаемого артиста, который вовсе не родился, а только когда-нибудь будет, и для некоего театра, который ещё должен появиться, — «для театра будущего!». Вот слово и сказано.

Для Шекспира существовавший в Англии театр был уже тесен, традиционная трагедия — слишком уж условна; для Пушкина не было стеснений и чрезмерных условностей — он трудился «во чистом театральном поле», где на ниве трагедии соперничать было не с кем, преодолевать наросты и груз накопившихся традиций не приходилось, — сделав решительный шаг, Пушкин сразу опережал существующий при нём театр на сто, а то и больше лет. Это было и горе, и счастье одновременно.

В «Маленьких трагедиях» у Пушкина ведущим является не

сюжет, не внешнее действие, а некое, глубоко скрытое, внутреннее течение, которое сродни разве размышлению, внутреннему монологу, разговору с самим собой. Ему (автору) порой даже партнёр уже не нужен. В «Скупом рыцаре», например. То же самое в «Моцарте и Сальери» — диалог больше похож на внутренний монолог для решения насущного, самого главного вопроса жизни. Да и каждая Маленькая трагедия пишется для решения одного из главнейших вопросов бытия. Вот какой максималистский подход к задачам драматического действия. А при внимательном рассмотрении возникает ещё один, уже старый-престарый вопрос: что же всё-таки такое театр? Что это за странное явление?!

А пока: каждая «Маленькая трагедия», это не развитие той же самой однажды взятой темы, не совершенствование уже найденного приёма, а каждый раз новое решение новой задачи:

«Пир во время чумы» — заново; «Каменный гость» — заново… и каждая потребует от театра своего собственного НОВОГО, доселе невиданного решения, может быть, НОВОГО режиссёра, и уж обязательно НОВОГО актёра. А объединение «Маленьких трагедий» в один спектакль — это ещё одна НОВАЯ, особо трудная, режиссёрская задача. Здесь старые ключи не подойдут, здесь нужен весь арсенал прошлого, плюс НОВОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ.

Только во второй половине двадцатого века, у нас на глазах западная драматургия подошла к решению задач, которые ставил перед собой А.С. Пушкин, по-видимому, даже и не подозревая о своём предшественнике.

Попробуем подойти к завершению отступления о судьбе «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина… «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы»…

По-видимому, искать возможности сценических воплощений «Маленьких трагедий» надо на путях пока ещё не существующего сегодня театра. Так что тот, кто их поставит на сцене и будет знать, как это сделать (преисполненный не единой театральной амбицией, а ещё и какими-то идеями), — будет реформатором русской сцены и второоткрывателем! Вторым, потому что Первым был и останется Александр Сергеевич Пушкин. Скорее всего, и Пушкин уже знал, что тут есть какой-то секрет. Знал и поддерживал эту загадочность для театра, которому ещё предстоит СТАТЬ, памятуя, что без тайны нет мира, а театра и подавно… Сам-то Пушкин «Маленькие трагедии», так же как и «Бориса Годунова», читал своим друзьям, а вот свидетельств того, как всё это звучало и какие откровения распахивались, не так уж много, — всё больше эмоции слушающих описываются, реакции,

впечатления, «Охи» да «Ахи!».

«Маленькие трагедии» Пушкина это Большие трагедии — они развёртываются как бы с остановками, размышлениями, даже с возвратами к пропущенному сюжетному или смысловому повороту, к слову, на которое поначалу не обратили внимание… Может быть, их так и будут ставить режиссёры, как большие загадки, как маленькие химеры на пиках собора? Вопросы без ответов. Может быть, это маленькие «рашамоны» (версии), где от перемены точек зрения на исследуемый предмет меняются смыслы происходящего и их трактовки?.. Может быть так?.. Но, скорее всего, как-нибудь по-другому.

«Маленькие трагедии» ждали и ждут своего большого режиссёра и, конечно уж, своего великого исполнителя — каждая роль в отдельности. И нет никакой гарантии, что не прождут ещё сколько-то лет — наверное, им не к спеху… Театр — явление полное неожиданностей, здесь всё может произойти и сегодня и завтра, но дело здесь не только в режиссёре — режиссёрские решения и открытия неотделимы от открытий актёрских. История мирового театра построена на том, что такие невероятные совпадения бывают.

Такую уверенность и оптимизм вселил в нас Борис Андреевич Бабочкин, когда в самый неподходящий по состоянию здоровья и душевному настрою момент получил предложение и осуществил свою давнишнюю мечту — прочёл и сыграл (как вам будет угодно!) монологи из трагедий А.С. Пушкина.

Из дневника Б.А. Бабочкина:

«Сейчас смотрел по телевидению свои «Пушкинские монологи». Мне нужно ещё раз посмотреть, чтобы получить полное впечатление. Мне кажется, что по мысли — хорошо. Но м. б., могло быть больше темперамента и разнообразия… Это я сам должен сказать. Вот тогда, значит, действительно хорошо».

Бабочкин, казалось бы, легко и просто приоткрыл для нас край завесы над «Маленькими трагедиями», он показал, что задача, в общем-то, разрешимая, только нужен особый актёр, особая мера понимания и… особый зритель!.. Зритель, способный понять пришедшего к нему великого актёра, способный поверить ему и восхититься.

Как много нужно, чтобы был Театр! — это ведь надо же: чтобы сам Пушкин написал, чтобы мир в это поверил и захотел слушать, чтобы нашёлся адекватный и созвучный автору и современности режиссёр, чтобы родился и созрел для этого созданный актёр, да ещё чтобы зритель, достойный такого везения, появился бы на свет — не опоздал! — и пришёл бы в этот театр. А без зрителя — Увы! — театра нет вообще. Состоялось! —

пришёл на этот спектакль его единственный и неповторимый исполнитель, действительно Народный артист Борис Андреевич Бабочкин. И у него в этот вечер снова был свой многомиллионный зал и свой новый телевизионный зритель и слушатель.

## *У лукоморья*

Говоря об исполнении Пушкина артистом Илларионом Певцовым, Г.В. Сахновский заметил: «Читал звучно, чётко и твёрдо, наслаждаясь каждым словом и образом. Он читал без всякого кокетства чтецов, без мелодических затягиваний и подчеркнутого скандирования. Слово Пушкина, пунктуацию и ритмы он передавал чеканно. Мысли и образы Пушкина увлекали его…».

Слушая Бориса Андреевича Бабочкина можно было догадаться, как читал Пушкина Илларион Певцов. Нет, что ни говорите, а великолепно, когда об учителе и о его ученике, да ещё двух великих артистах, можно сказать одними и теми же словами. Выше всего в жизни, — это её продолжение, да еще возведённое в степень.

Как имя легендарного комдива Чапаева постоянно сопровождали и сопровождают самые нелепые мифы да анекдоты, так и артист Бабочкин был постоянно окружен сонмом не только лживых мифов, легенд (это ещё куда ни шло), но и сплетен, наветов, доносов. А вожди и вождицы постоянно путали героический прототип с исполнителем роли и были готовы то награждать, а то карать артиста за поступки и проделки исполняемого им персонажа. Первобытность восприятия искусства не всегда наивна, иногда она просто дикая и жестокая.

Да, его любили, но его любили насмерть! То правители, то коллеги, то начальство, ну и, разумеется, народ!.. И все спешили, торопились к завершению этого безумного романа… И он всё это отлично понимал. Потому и шарахался от всего ритуального, государственного, а заодно и похоронного, и от всех распахнутых объятий. Он-то знал лучше других, что у нас любят не «до смерти», а «насмерть». У нас не успокаиваются, если не доводят роман до финальной точки. Вот такая любовь к завершённости. А уж после смерти — любовь без конца и без края!..

Только самые-самые близкие старались уберечь его и оградить. Но сделать это было нелегко — он сам был слеплен из того же материала, что и его народ.

После даты 17 января 1972 г. в дневнике Б.А. Бабочкина

можно прочесть: «Сегодня последний день, когда мне 67 лет… неприятности я теперь трудно переношу. Сразу заболевает сердце и чувствую — всё может в один момент оборваться…»

Последнее, что Бабочкин читал по радио, было:

У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Всё ходит…

Ничего в жизни прозрачнее, естественнее мне слышать не приходилось…

Идёт направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Там чудеса…

Там были, есть и всегда будут чудеса — там был, играл и жил Борис Андреевич Бабочкин.

## *Кто не понимает молчания*

В воспоминаниях С. Азанчевского о Певцове сказано после внушительного отточия:

«Многие не любили Певцова как человека. А я отношу это за счёт незнания. Те, кто его знал более или менее близко, не могли не любить этого страстного, горячего человека. Многих артист Певцов отпугивал сам своими резкими высказываниями, ибо он никогда не стеснялся и не считал нужным скрывать то, что он думает. Жалею тех, кто из-за этого отворачивался от Певцова. Из боязни перед резким и откровенным мнением не стоило терять возможности общения с человеком такого богатого содержания».

Хоть и с оговорками, а слово сказано… Как, всё сказанное С.А. Азанчевским о Певцове, может относиться к Борису Андреевичу Бабочкину?

А напрямую. Ученик и последователь, какой бы самобытный и яркий он ни был, берёт у своего учителя суть. Сердцевину. Нечто основополагающее. (Если вообще что-либо берёт). Ученик — это духовное и нравственное продолжение учителя даже в тех случаях, когда ученик бунтует против своего учителя. У Бабочкина этого не было, у него Певцов всегда был точкой отсчета, началом начал. От учителя к ученику. От ученика к

учителю. Вот путь восхождения. Взаимопроникновение, взаимовлияние, связь и отталкивание, преемственность и разрушение — создание нового, доселе небывалого.

Резкие, порой ошеломляющие, даже обескураживающие замечания, суждения, высказывания, реплики, оценки. Борис Андреевич был верным и последовательным учеником своего безмерно талантливого и чрезмерно прямодушного учителя.

Ведь прямоте тоже приходится учиться всю жизнь. Не секрет — то, что терпят от пророков и праведников, не терпят от иных смертных, остальным этого не прощают. Артистам и подавно.

Пуще другого Бабочкин ценил в людях гражданскую смелость, умение пойти «на высоту» за стоящее дело и, разумеется, согласно зрелым убеждениям — вот тут можно было заметить в его лексиконе и блеске глаз даже затаённую нежность (при всей его обыденной жёсткости). Тут он не жалел даже доброй, ласковой интонации, а, вообще-то, похвалы от него дождаться было не легко. Такую смелость он ценил крайне и хорошо знал, что она-то и есть подлинная. Однажды сказал:

— Такое следует ценить, может быть, даже выше фронтовой доблести…

Тут трудно было с ним не согласиться. И вдруг… — здесь всё всегда внезапно:

— Вы слышали?.. Бабочкин уходит из института!

Не Бабочкин уходит из института, а «его уходят». Грубо и подло.

Сначала, как гром с неба (не такого уж ясного — сплошные разбирательства, разгромы и погромы — «не переводя дыхания»), — политический донос на Бориса Андреевича (значительно раньше, чем сексотка Тимашук на «врачей-отравителей») — от кого?., от неумехи ассистентки. И, представьте себе, всё довольно связно и продуманно (по заведенному стандарту, без излишеств): «сказал на лекции двусмысленность — как хочешь, так и понимай, «в такое напряжённое время, в разгар идеологической борьбы, скрытое несогласие с определёнными установками руководящих органов в области культуры и художественного творчества…». Злобно и целенаправленно.

Идёт разбирательство на партийном собрании института. Администрация и представители с именами, как воды в рот набрали. Перепуганы все до опупа — власти, органы и аппарат давят всех подряд и без пощады… Кому хочется «под колесо истории»?.. Но в зальчике около одной трети фронтовики-студенты — не всякая лабуда проскочит. Потребовали автора доноса… Её нет, но приходится назвать имя и фамилию. Её знают

все, но она совсем не злобная женщина, вне всякой политики, скорее не умная и тихая…

Она не в состоянии написать такое…

Но вот собственноручная подпись.

Мадам действительно вся в завитушках, но… но ведь с извилинами там гораздо хуже…

А ещё… Борис Андреевич Бабочкин сам привёл её в мастерскую. И вот уже скоро год она сиднем сидит на задней скамейке и молчит…

Как-то один из студентов постарше сказал Борису Андреевичу:

— Зачем она здесь сидит? Она же ничего не понимает…

— А помолчать можешь? — спросил Бабочкин. — Да, она ничего не может. Но она актриса — понимаешь, актриса, с именем и прошлым. У неё двое детей. И ей надо их кормить. А она и этого не умеет… И мужика у неё нет. Вот пусть и сидит.

— Но хотя бы пусть не даёт указаний…

— Об этом я её попрошу.

И вот от имени этой женщины написан донос на Бориса Андреевича. Кто, на самом деле, состряпал этот пасквиль?! Чтобы разрядить обстановку и смягчить ситуацию выступил руководитель объединённой мастерской, режиссёрско-актёрской, Сергей Апполинарьевич Герасимов… Смягчал, смягчал и стало ясно, чьих рук это дело. Да и догадаться было не трудно… Уже нет в институте всемирно известного Сергея Эйзенштейна, бессменного заведующего кафедрой режиссуры, отодвинут на самый край сражения талантливый знаток актёрских тонкостей кинорежиссер Юлий Райзман (бывший завкафедрой актёрского мастерства), Льва Кулешова вообще заткнули за печку (как возможного формалиста)…

«Иных уж нет, а те далече…» И С.А. Герасимов, находящийся на пике партийности, водрузивший там свой флаг насквозь фальшивой «Молодой гвардии», объединяет две кафедры (режиссерскую и актёрскую), публикует какую-то абракадабру в знак теоретического обоснования этой идеи и становится Завом Объединённой КАФЕДРЫ. Он-то знает, что Борис Андреевич не согласится работать под его началом… Ну, посудите сами, один из выдающихся деятелей русской сцены, легенда современного кинематографа, будет под мощной и бесцеремонной пятой натужного, до предела советизированного режиссёра, да ещё «о-о-очень, ну, о-о-очень!» посредственного артиста с международными амбициями… Жена Герасимова, знаменитая артистка своего времени, Тамара Федоровна Макарова, настаивала в коридорах и кулуарах собраний, имея в виду своего

суверенного супруга:

— Он не только выдающийся кинорежиссёр и педагог. Поймите! Он — режиссёр-философ!! — В её исполнении слово «философ» кидало на обе лопатки Спинозу, Гегеля и Канта одновременно… — Он артист-мыслитель! — её пафос парил, как открытый плавательный бассейн с подогретой водой в морозное утро. — Он политический и партийный деятель Советского государства. И всего кинематографа! — слушатель увядал и скукоживался…

## *Бабочкина ушли из института*

После смерти Бориса Андреевича прошло не так уж много времени, и уже слышны панегирики не только его таланту (это понятно и бесспорно), но его прямоте, взыскательности и резкости суждений. Дескать даже скучать как-то стали без его придирчивости и резкостей… При жизни эти качества его характера вызывали злобное раздражение окружающих и жестокую мстительность.

Те, кто его хорошо знал, знали не только его художественные взлёты, но были свидетелями его глубоких депрессий, разящей саркастичности.

Актёрская профессия, с одной стороны, такая жалкая, унизительная, пока актёр старается изобразить, показать то, чего сам толком не ведает, не чувствует, и сыграть потому толком не умеет. Об этом Бабочкин говорил нередко и беспощадно. А вот с другой, малодоступной стороны: актёр это вселенский транслятор, зеркало мира, властитель если не умов, то всей чувственной сферы, великолепно отлаженный инструмент, способный звуки, движения и значения бытия раскрывать людям. И всё это не от ума, не от высокой образованности (что актёру может быть тоже не чуждо), а отчего-то другого…

Вот этого Бабочкин никогда впрямую не говорил — он, казалось, боялся, что его неправильно поймут, оскорбят подозрением в излишне пафосном изъяснении или в неточностях… Но всей силой своей убедительности он подводил собеседника к самому краю понимания этих явлений.

Уходил Борис Андреевич почти всегда внезапно. Не только без подготовки, но часто и без особого видимого повода — вот исчезал и всё… Оставалась какая-то незавершенная нота и желание продолжения, последнее слово звучало в опустевшем пространстве долго — так и кажется, что звучит до сих пор…

Дома в день своего рождения с бокалом в руке Борис

Андреевич обратился к одному из своих гостей:

— Ты сделал немало хорошего, но ты всегда немного торопился. Как говорится, шёл в своих художественных делах с постоянным опережением, то на год, а то и больше… Вот тебя и колошматят нещадно… Я всегда старался всё делать вовремя. Этот тост за то, чтобы мы всё всегда делали вовремя! — в этот день Борису Андреевичу Бабочкину исполнилось семьдесят лет. — Я постараюсь всё сделать вовремя… — пообещал он многозначительно.

Он не сдержал слова — со смертью Борис Андреевич непростительно поторопился.

## *Миг — это тоже вечность*

Стыдно… «Неуживчивый Бабочкин»… «Ах, какой резкий! Какой трудный характер!»… «Нет, с ним решительно нельзя не поссориться!»…

Борис Андреевич… Ему всегда было стыдно.

Стыдно за любое проявление бездарности: «жизнь это ДАР, а ДАР не может, не должен быть бездарным»; за чужую подлость (даже не имеющую к нему отношения); за повсеместное предательство, за безвкусицу, за всё, что вне гармонии, вне завершенности, вне искусства, ему было стыдно…

Вот откуда брала начало его резкость, его «неуживчивость».

В центре самого мощного, всё сметающего урагана есть такое небольшое пространство, где господствует полная тишина — называется «ОКО ТАЙФУНА». Это почти невероятно, но так!..

Чем крупнее художник, тем настойчивее он ищет такое место — точку покоя, мудрого созерцания и равновесия, точку творчества. Ведь кругом и вправду бушует ураган… А в стихии «мусорного урагана» найти место ТИШИНЫ ещё труднее и маловероятнее. Скорее, разбушевавшаяся стихия захватит тебя самого, завертит, унесёт — перемешает с бушующим хламом.

Он всегда искал это место подлинной тишины. Ну, если не всегда, то в зрелом возрасте уж наверняка.

В Малом театре сезон закрыт, наступило время летних отпусков.

Борис Андреевич прошел по коридорам, через фойе, попрощался с теми немногими, что попадались на пути, вышел на улицу… В груди посередине и чуть левее чувствовалось нарастающее теснение и временами вступала гнетущая боль… Надо было вернуться, но возвращаться ой как не хотелось… Медленно, плавно и размашисто он дошёл до своей машины…

сел за руль… Собрался с духом и тронулся, его автомобиль сразу влился в поток машин, что шёл справа от Петровки, и тут же остановился у светофора… Красные пятна покачивались…

«Когда два потока пойдут навстречу один другому и станут сливаться на вечном вираже в единый… Вот гут бы не оплошать». Сердце всегда сбоит не вовремя. Мигнули жёлтые и поплыли навстречу зелёные пятна огней, оба потока ринулись навстречу друг другу, словно решили вступить в схватку… И тут, на вираже, вынырнуло ясное ощущение катастрофы, не автомобильной, другой — доселе невиданной — и постыдный страх множества незавершённых дел и невыполненных обязательств… Вот ОНО — накатилось… Скорее, скорее из потока… К тротуару… Правее… Ещё правее… Мимо шарахающихся машин и ошалелых лиц водителей с распахнутыми ртами… Плотнее к самой кромке… Хорошо, что шум улицы кто-то выключил. Всё, что осталось, осталось внутри… В зеркале надвигался рассвирепевший милиционер — ещё бы, по диагонали из четвёртого ряда! И где?! Возле «Метрополя!»…

Вот ОН — наступил этот миг — вся накопленная мощь, вся эта суровая сила не хочет и не может просто погибнуть… Всё, что могло случиться и случилось, было рядом с ним и вокруг него. А в середине, в центре этого урагана стояла полная тишина. Это была тишина недоступная воображению… Никого не было в этот миг с ним рядом… И это было справедливо — человек должен встретить этот миг сам, — а то, что при этом бывает больно, уже не имеет значения. Из всей своей жизни Он извлекал её суть, которой суждено жить всегда — вечно.

# Ваш Григорий Козинцев

Дорогой Григорий Михайлович, мы опять, невежи, не ответили на Ваше подробное письмо, в котором Вы просто вгрызаетесь в каждую деталь, в каждый штрих и стараетесь убрать с нашего пути все капканы, коряги и предупредить нас о всех возможных рытвинах, ухабах и ямах. Мы тогда наспех набрасывали Вам успокоительные записки, что всё учтём, всё-всё усвоим и по возможности выполним… Компенсируя свою поспешность длинными и неуклюжими словообразованиями — «Глубокоуважаемый», «с неизменным к вам почтением» и ещё что-то в этом роде… Мы валились с ног от усталости и не знали, где найти силы для завтрашней съёмки. Но мы были достаточно молоды, и силы наутро приходили сами, или кто-то их нам посылал.

Григорий Михайлович, не бойтесь — ни слова пропущено не будет. Только, видно, так уж устроен человек, что понимает ценность забот и глубину отношений гораздо позже, чем следует. Нет мудрых от рождения, или они боги.

Вы были правы — мало кому нужны тут мы вместе с нашими фильмами. Самое ответственное лицо на одной из крупнейших киностудий страны так и сказало мне однажды: «Этот фильм нужен вам и, может быть, вашему сценаристу. Вот и всё. А что вы Нам дадите в своём фильме?!» Ну и ну! Сколько сибаритства, надстояния, надменности. А потом вся киностудия кормится этим фильмом, потому что он пользовался зрительским успехом и принёс значительный доход!.. Я это к тому, что помню, как Вам сказали нечто подобное: «Шекспир! Ну кому это сейчас нужно?.. В театре — я понимаю. Но на массовом экране?!»…

Но ведь бывает и другое — чуть позднее, после выхода фильма на экран, кто-то ахнет и засветится восторгом, тем особым светом, ради которого мы жили и живём, работали и работаем в кинематографе. Но этого особого света становится всё меньше, а с восторгами тоже не ахти… Вот разве два-три исключения вселяют оптимизм и надежду. Наверное, исключения и исключительные для того и существуют, чтобы вселять. Вот пишу Вам, а из головы не выходит тогдашний директор киностудии «ЛЕНФИЛЬМ» Николаев Георгий Николаевич. Мы все с таким трудом произнесли то лучшее, что обязаны были бы сказать ещё тогда — при жизни. Сегодня следует признаться: я по сей день люблю этого человека. А ему самому так и не успел сказать об этом, даже больному. Всё как-то было неловко. Но он был чутким человеком — хочу верить, он догадывался…

Григорий Михайлович, такой отгороженный от нас человек, отгороженный революционной классикой, которую мы в детстве принимали за действительность, вроде бы отгороженный высокими званиями, заслугами, несчётными мытарствами, мало ли чем… Вы же знаете, что Никита погиб в автомобильной катастрофе? Скажите, может быть, Вы всё-таки знаете, почему, отправляясь в свой последний рейс, вместе с семьёй, на перегруженном «Запорожце», он свернул с шоссе и заехал к Вам на дачу? Он что, хотел действительно только попрощаться с Вами и Валентиной Григорьевной? Или он успел извиниться за нас обоих?

Нет, мы не были небрежными. Мы были отвоевавшиеся до упора и не такие уж молодые люди, которым во что бы то ни стало надо было наверстать упущенное. Вот тут нас плохо понимали окружающие, а объясниться было некогда, да и амбиции не позволяли — время, как всегда топорщилось и торопило. Неизвестно, куда и зачем. Не было и нет легких времён — это скверная память делает их облегчёнными и излишне радужными.

Вы нам писали туда, на берег Каспия, по поводу съёмок нашего первого игрового фильма «Последний дюйм»:

«… И вот именно этого основного — Любви друг к другу, величайшего опасения за жизнь друг друга у вас в сцене не получилось».

Нет, Григорий Михайлович, не всё так, как Вы пишете, может быть, любви друг к другу у нас в сцене и не получилось, но что касается опасения за жизнь другого человека, то тут, извините, профессионалами были мы — тут нам уроков не брать. Учиться нам придётся во всём остальном. Кроме этого.

Вы писали, чтобы «придать нам дополнительное напряжение», а мы и без того были напряжены до предела: (где найти) «…усилие, чтобы понять обстановку, найти из неё выход, воздействовать на мальчика, побудив его сделать почти всё невозможное. Но это всё может стать жизненным и убедительным тогда только, когда это возникает в преодолении БЕССИЛИЯ»…

За каждой строкой Вашего письма было опасение, опасение, опасение — как бы мы что-то там не пропустили, не снебрежничали. А ведь мы были и тогда в достаточной степени ответственными людьми. Вы очень долго не снимали фильмов, и в письмах чувствовалось, как Вам самому хочется на съёмочную площадку. Весь этот озноб ожидания, нетерпения и опасений, без которых не существует настоящая киносъёмка, Вам необходимо было передать кому-нибудь…

Хотите знать правду, Григорий Михайлович? Нам не столько

были нужны наставления, сколько непрестанная забота Ваша, и Ваши опасения, и просто то, что Вы думаете о нас, и то, что мы Вам не безразличны. О-о-о! Это очень много, когда кто-либо просто думает о тебе. В кино такая щедрость считается чрезмерной. В обстановке, мягко говоря, жестких перегрузок, гипертрофированных самоутверждений забота даже об ученике называется роскошью. А ведь мы не были Вашими питомцами, мы были чужаки, пришлые. Так вот она правда — ни до Вас, ни после никто, никогда не пёкся о нас так, не оберегал, не ограждал от напастей, не вёл и не отстаивал в многочисленных кабинетных баталиях, да и на страницах кинематографических журналов тоже.

И ещё одна забота — Вы всё время боялись, что у нас не хватит материала для создания не экране «ощущения пустыни». Вы напрасно так настойчиво беспокоились об этом. Тут я скажу Вам только от себя — не знаю, как с этим ощущением обстояло у Никиты, но я всю жизнь несу это ощущение. И не только потому, что родился в Бухарском оазисе, окружённом со всех сторон бескрайней пустыней, не только потому, что не раз бывал в пустыне, жил там и работал, но ещё и потому, что никогда (и по сей день) это ощущение, по существу, не оставляло меня. Промежутки, разумеется, были — это редкие мгновения встреч с проявлением высот человеческого Духа, и ещё более редкие импульсы искренней и глубокой заботы человека о человеке (как бы мимолётны они не были) — сюда же входит и добрая память, не замутненная ни временем, ни суждениями.

Видимо, «ощущение пустыни» было знакомо и Вам, когда в памятных 1949–50-х годах приходилось ездить из Ленинграда в Москву, а из Москвы в Ленинград, чтобы не оставаться с многолюдным и ненадёжным городом один на один, когда предавали, казалось бы, самые надёжные; верные друзья уже не казались такими уж верными — а всего-то и было ничего, не война, не мор, не чума, не холера, а очередной приступ лихорадочной борьбы с космополитизмом, формализмом и еще с несколькими малозначительными измами. Нет-нет, ощущение пустыни Вас тоже не покидало, и это не были мимолётности, это были ветры и циклоны пространственных обледенений, временные, а не вре́менные вихри. Казалось, ледяные глыбы плыли, как гигантские айсберги, на поверхности торчит только одна десятая их подлинной огромности и подлости. Одну из таких вьюг я застал на излёте. Это было Ваше бескартинье, которое было куда длиннее, чем всесоюзный киноаскетизм. Что оставалось делать Вашим замыслам?.. Громоздиться и теснить один другого? А на горизонте, словно тень Отца, появлялся

Шекспировский Гамлет. И постепенно встающий на крепнущие ноги, ещё недавно вовсе обескураженный жизнью замечательный Иннокентий Смоктуновский.

***Я*** до сих пор не могу понять, почему Вы были активно против нашей работы над экранизацией «Смерти коммивояжера» Артура Миллера? Мы были крайне увлечены и любили эту вещь. А позднее Вы совсем запротестовали, когда я (уже без Никиты), может быть, с излишним напором (а кто знает меру?) взялся вместе с молодым Эдвардом Радзинским бороться за «Улицу Ньютона, дом 1». Ох уж и накостыляли нам на этой улице!.. А Вы скорбно поглядывали — мол, «я же вас предупреждал… предостерегал…»

Дорогой Григорий Михайлович, все мы должны сами совершить всё, что нам отпущено судьбой, и сами сотворить всё несусветное скопище своих собственных ошибок. А Вам так хотелось, чтобы мы были исключением и учли все ошибки наших предшественников, заблуждения всех заблудших, не предавались бы излишне иллюзиям всех блаженных и не сели бы, раньше положенного, на рифы.

Пришла пора. Григорий Михайлович, за себя и за Никиту прошу у Вас прощения — если где-то мы были излишне резки или не до конца понимали Вас, когда Вы с болью просили не делать того или другого. Правду говоря, мы не так-то уж хорошо знали, что надо делать сейчас, а что потом. Мы торопились. Так хотелось успеть. А Вы всем своим видом и собственным поведением говорили: «Прошу вас, не спешите. Вы ещё успеете. Рассчитывайте свои шаги!».

А когда наш первый фильм был готов, Вы тихо светились изнутри и просили не реагировать на фразы, неловкие выверты, даже подкопы.

— Дело сделано — фильм есть, — сказали Вы. И, пожалуйста, не сердитесь на… (такого-то такого-то) это у него такая манера хвалить. Он вас похвалил — поняли?

Теперь поняли — тогда нет.

— А эта… дама… Ну, как бы это выразиться… Не умеет по другому. Она думает, что так надо. Попросту говоря, не умная. Но не злая. Вот увидите, она завтра будет вас хвалить и тоже искренне.

Мне следует сегодня сообщить Вам, Григорий Михайлович, что даже самая малость добрых чувств и поступков, проявленных тогда Вами в наш адрес и в адрес нашего первого фильма, не стерлись ни на йоту — чувства добрые вечны и отпечатываются навсегда. Они остаются даже тогда, когда нас уже вроде бы и нет.

Вы тогда произнесли, что мы сделали фильм о «преодолении

человеческого отчаяния». Сегодня я могу Вам ответить — как хотелось бы, чтобы наши побуждения в этом направлении хоть чуточку оправдались. Хоть чуть-чуть продвинули бы людей по этому пути. С тех пор прошло более четверти века. Что-то я не заметил, чтобы хоть кто-нибудь преуспел на этой зыбкой стезе… Я полагаю, до сих пор — «ВСЁ ВПЕРЕДИ».

Я помню, Вы вышли на сцену Ленинградского дома Кино вслед за Уильямом Уайлером и его супругой — живой классик американского кино и сам Григорий Козинцев (никогда не видел, чтобы Вы так сильно волновались, я это заметил ещё раньше, чем Вы заговорили). А Уайлер был спокоен за двоих, нет, за троих и за всех остальных, руки держал глубоко в карманах брюк, во всей плотноватой фигуре чувствовалась уверенность и свобода. Его жена время от времени что-то шептала ему с некоторым укором, он пожимал плечами, тут же вынимал руки из карманов, застёгивал пиджак. Но после этого, не зная куда деть руки, внезапно снова расстёгивал пиджак и запускал руки в карманы, и снова чувствовал себя отлично. Лёгкий прищур глаз, нос, как у нас говорят, картошкой и обворожительная улыбка — СМАИЛ на все сто (это уж как у них говорят).

Так и не понял отчего, Вы тогда так волновались? И даже скрыть этого не могли… Таким вот я Вас и запомнил — худой, высокий, длиннорукий, весь какой-то вытянутый и устремленный, то вперед, то вверх — начал произносить слово о госте, о его фильмах, их художественных достоинствах, о том, что писала об Уайлере критика, какие его фильмы мы знаем и сколько всего лент он снял.

Многое из произнесённого, казалось, Уайлер слышал впервые и радовался и удивлялся вместе со всеми. Зал был переполнен, взрывался доброжелательностью и аплодисментами, а Вы, Григорий Михайлович, по-моему, всё время боялись, что зал недостаточно приветлив. Вы протягивали обе длинные руки к гостю и упоённо хлопали в ладоши, кисти рук метались сверху вниз, снизу вверх, бились, словно странная птица, которой всё время почему-то больно…

Я не знаю, из чего слагается предельная искренность, но в тот вечер понял — не из сдержанности. Всё, что в этот вечер выплеснулось наружу и проявилось само собой, оказалось самым впечатляющим и рассказало мне о Вас больше, чем длинные беседы у Вас дома, больше, чем многое другое…

Уже в Москве Вы назначили мне встречу и продиктовали адрес. Вы сказали: «Я всегда здесь останавливаюсь». Адрес был знаком мне с детства. Я помнил, как строился этот дом. Что было на том месте, когда ещё расчищали площадку под его

строительство. Как передвигали вглубь улицы старинное здание Моссовета и потом надстраивали его. А по середине площади стоял не памятник Юрию Долгорукому и его коню, а каменная стрела-обелиск в честь первой Советской Конституции, с полным текстом, отлитым уникальными мастерами на чугунных досках. Это был памятный дом. Сколько знаменитостей тогда в него въехало.

А скольких знаменитостей потом вывезли оттуда прямо на Лубянку! Позднее в этом доме поселился мой первый настоящий учитель Борис Андреевич Бабочкин. Не так давно в этот дом с Полянки переселился Михаил Ильич Ромм. Квартира, куда Вы меня пригласили, была квартирой Ильи Григорьевича Эренбурга. Хозяев квартиры в городе не было. Мы беседовали, и Вы начали провоцировать меня на рассказы о военном прошлом, а я тогда терпеть не мог рассказов о войне… И потом, ещё много лет, не мог рассказывать о войне. Тогда мне казалось, что я просто отнимаю у Вас драгоценное гремя… Но Вы умели убедить, попросили с толикой категоричности, сели и скрестили руки, мол, «Ну! Я жду!» — и превратились в сплошное внимание. И я впервые за многие годы рассказывал, долго. И время от времени проверял — не надоело ли?.. Это не запоздалое признание. Просто пришло время.

Однажды Вы подписали своё первое письмо к нам в киноэкспедицию на берег Каспийского моря:

— Ваш Григорий Козинцев.

Я подумал: «Ну да! Так уж и «Наш»! Не такой уж он доступный и не так просто раздаётся — что своим, что чужим. Боспорская черепаха и та просто распахнутое создание по сравнению с Козинцевым!».

Я был неправ, Григорий Михайлович.

Сегодня, в последние часы декабря месяца одна тысяча девятьсот восемьдесят шестого года, острее, чем вчера, острее, чем когда бы то ни было, я знаю и говорю, без малейшего налёта присвоения, с толикой неизъяснимой благодарности — действительно МОИ. И каждого, кому Вы это написали, сказали, тихо прошептали. И ещё многих.

Вдогонку, через годы и события, я посылаю Вам, дорогой Григорий Михайлович, это письмо, и более чем уверен — нет запоздалых писем, оно найдёт Вас, и продолжение беседы состоится.

Всегда Ваш…

***Москва, декабрь 1986 года.***

# Разговоры с Юрием Домбровским

Кто он?

— Настоящий писатель. А во «второй половине» XX века настоящих оказалось не так уж много…

Кто он?

— Выдумщик и фантазер…

— Взыскующий судия в области морали, совести и нравственности… тут же нарушитель всех перечисленных установлений… кроме совести.

— Образованнейший человек, не завершивший ни одного высшего образования официально.

— Страдалец, мученик, заводила и неугомонный выпивоха, пребывающий в нескольких измерениях одновременно.

— Ментор без всякого резонерства, краснобай без красивости — всегда смысл, суть, ядро — последняя инстанция для первоклассных талантливых людей во многих областях творчества и даже науки.

— Страстный спорщик, странный муж, неряшливый покоритель женских сердец, «гусар» и восхититель умов.

— Авантюрист и просто юрист — одновременно.

— Коллекционер и Хранитель древностей без коллекций.

— Концептуалист и генератор новых глобальных идей.

— Самый настоящий Мюнхгаузен, только что не барон…

А если всерьез?.. ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ — уникум, чудо распатланного века, порой умеющее превратиться в чудище… Когда в ситуации всеобщего взаимоуничтожения, подавления и господства страха появляется и живет личность, готовая ко всему на свете… кроме капитуляции, кроме униженного подчинения силе, появляются на свет ХРАНИТЕЛЬ ДРЕВНОСТЕЙ» — 1964 год, «ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ» — 1978 год. Эта дилогия становится заглавным российским романом второй половины XX века.

Юрий Домбровский, вся его жизнь, всё его литературное творчество — судьба, невероятное стечение обстоятельств (это не «везучесть», это что-то другое…), натура, талант, воля, умение пойти на крайний риск… Всё это становится его КАРНАВАЛОМ. Только не карнавалом всеобщего праздника, а карнавалом постоянного и упорного разговора со смертью.

Разговор с ней — ещё куда ни шло, а вот сговор с ней, бессмысленной… Она обязательно обманет. Да ещё позлорадствует и посмеется вволю… Но, если ты человек и обладатель достоинства, у тебя в запасе есть свой арсенал:

Любовь к жизни, Любовь к Человеку… И ещё что-то…

## *Из записных книжек*

Только вчера я познакомился с этим человеком, а знаю о нём уже давно, со времени публикации «Хранителя древностей». Писателя значительного почувствовал в нем не сразу, а по мере погружения в роман, напечатанный в «Новом мире» (№ № 7, 8–1964 г.). Полтора часа, проведенные в его 15-метровой комнатухе, упрятанной в московской коммуналке, останутся в памяти навсегда. Я пойду туда ещё и ещё. До тех пор, пока будет возможно.

Он свободно и неожиданно увлеченно рассказывал о второй части романа и произнес великолепное название — «Факультет ненужных вещей». Без сюжета и фабулы он излагал концепцию и вскользь упомянул о **том,** что еще не менее двух лет уйдет на работу. «А пот**ом** ее не напечатают». Не надо быть очень уж проницательным человеком, надо просто знать свою страну.

31.01. 1996 г. Опять был у Домбровского. Он читал вслух несколько страниц текста из романа — «Обезьяна приходит за своим черепом» — держит книгу перед собой в вытянутой руке, голова чуть наклонена и сквозь стекла очков глаз не видно. Показалось, что авт**ор** смотрит мимо книги, мимо всего на свете и произносит текст наизусть. Стало немного не по себе — неужели наизусть целые страницы?! Пригляделся и успокоился. Нет, он смотрит в книгу, но склоненная на сторону и чуть закинутая голова, тусклое освещение, создали эту странную иллюзию… Ю. О. мне книги не дал. пообещал — «потом… в следующий раз».

В «Известиях» статья о самосожженцах в ЧССР. Читаем. Дошли до того места, где (после Яна Палаха) сообщается, дескать, остальные случаи попыток самосожжения проведены уголовниками в целях уйти от заслуженного наказания!..

— Ну, знаете! Вы видели когда-нибудь уголовника, который с целью избежать наказания сел хотя бы голой задницей на раскаленную плиту? Это же совсем о…ть надо, чтобы накатать такое… — он сконфужено засмеялся, видимо, представив нечто подобное.

Длинные черно-седоватые пряди волос спадают на лицо, и он мягким жестом пытается водворить их на место. В мешковатом костюме, но туфли то ли забыл надеть, то ли пренебрегает этой деталью туалета:

— Давайте чай. Чай пить!.. — Он продолжает разговор и

попутно прогуливается в одних носках на кухню и обратно — дверь остается раскрытой и беседа не прерывается. А возле его двери (какой там «возле»! — прямо под дверью), на стуле, приставленном ко второй створке, сидит прыщ коммунальной современности — осколок усатой империи — сосед по квартире, старый верный работник государственной безопасности, выведенный на пенсию. Сидит, сторожит и не подслушивает, а вникает, отслеживает через закрытую дверь, с завидной откровенностью несет эту вахту, совершенно бескорыстно — оказывается, вот уже несколько лет… Коммунальный прыщ — явление особое и доселе мною не виданное.

Компактненький, седенький, реденький, мастеру и до плеча не достает, болезненный, и сразу видно — помрет в одночасье. Молчит — слова не произнесет даже тогда, когда обращаются прямо к нему… Как-то днем, когда мы тихо и размеренно беседовали с Ю. О., возможно, слишком тихо беседовали (что происходит крайне редко, обычно говорим без всякой опаски, независимо от темы), и дверь была плотно прикрыта, что тоже бывает редко, седенький спокойно раскрыл эту дверь и, даже не кивнув в знак приветствия (а мы с ним обычно уже здороваемся), аккуратненько да и не спеша, втащил свой венский стул в комнату, поставил его возле нераскрывающейся створки, уже внутри комнаты.

Сел и вперил прозрачные, даже добрые глаза в прогуливающегося по комнате мастера… А тот всегда, когда увлеченно говорит, пересекает пространство!.. У меня от такой соседской наглости в глазах зарябило и чуть не поперхнулся горячим чаем. Даже постный сахар упал под стол. А Ю.О. продолжал говорить, не запнувшись, не теряя мысли, ничуть не реагируя на вошедшего, словно его как не было, так и нет… Потом, завершив фразу, мельком взглянул на очаровательного в своей прямоте и непосредственности соседа и сказал так, словно прыщ и не сидел рядом:

— Вы не удивляйтесь. Пусть сидит. Он после болезни — грипп у него был, что ли — и, наверное, оттого плохо слышит. А без этого он не может. Неровен час, что-нибудь недослышит и в доносе исказит нашу беседу. А он работник добросовестный, — в интонациях, даже в скрытом намеке, не было и тени иронии или неприязни. — А если здесь сидит и исказит, — Ю.О. назидательно почти воткнул в него указательный палец, — получится уже полное свинство… Чаю он не хочет. В беседе участия принимать не будет — и вообще, вполне деликатный стукач. Знаете, даже удобно — СВОЙ!.. Он однажды донос на меня накатал и исказил, — а всё потому, что недослышал… Потом искренне

извинился, и я ему простил эту неточность — лет на пять-шесть тюряги тянула… Тип ничтожный, глупый, но не самый вредный. Свою пенсию не зря получает — сторожит и изредка пишет, но не часто — слабеет зрением и рука дрожит. Вот худо, когда болеет, — ухо к стенке прижмет и может так часами пролежать. Только жалуется, если кто тишит беседу, прямо мучается и просит не издеваться, говорить в полной степени громкости, без утайки… А потом, знаете, очень стал за последние годы подобразовываться, даже книжки просил рекомендовать. Что ни назову — всё прочитывает. Мне б его чуть раньше получить!..

Сосед просидел тихим истуканом около получаса.

Литературная направленность беседы его не огорчила, а скорее успокоила и привела в состояние безнадежности. Он молча поднялся и деликатно удалился со стулом в руках. Мастер даже головы не повернул… Вот подробность: так как у соседа больные ноги, то под стулом возле двери Домбровского лежит старенький коврик, чтобы из щелей пола не так уж дуло…

— Вот, — сказал мастер, когда тот вышел, — даже жилья приличного не выслужил у них. Так и живет в одной квартире со мной, просидевшим по тюрьмам и лагерям более двадцати лет.

***…1971 г. Версия разговора Ю. Домбровского с одним из заметных функционеров, членом ССП.***

*(Со слов Ю. О. Д.)*

«… Вы делаете сегодняшний день литературы (в русле сегодняшней политики), а я — завтрашний. Потому что вы просто не печатаете меня сегодня. Вы за свою работу получаете всё, а я ничего. И тут я не возражаю. Я понимаю эту, если не необходимость, то, может быть, закономерность. А вот вы!.. Ну, ладно… Но вы отказываете мне в праве на существование. И тут теряете право на звание литератора…».

Академик АБ начисто отрицал значение Михаила Шолохова и его «Тихого Дона». При этом горячился и настаивал. Но в его суждениях слышалась натянутость и обратная конъюнктура — зачеркивание всего творчества из-за трибунных и публицистических высказываний первой литературной знаменитости.

Домбровский сразу заговорил против всех — против академика, против легко присоединившихся к нему собеседников. Он заговорил о «Тихом Доне» высоко и значительно, сосредотачивая внимание оппонентов на отличительной черте эпопеи — на единстве всего строя произведения: «Все персонажи

и события фокусируют и обрисовывают главного героя — Григория Мелехова… Это вещь значительная, останется во времени и, если хотите, достойна Нобелевской премии. А вот вся его дальнейшая деятельность, не то чтобы вразрез, а прямо скажем, в раскорячку… Даже основной арсенал его — слово, и то перестает подчиняться — паразит на паразите: «понимаете», «понимаешь» — не хватает только блатного «по-ял!»… Вот Шекспир! Куда меньше причин сомневаться в его подлинности и единоликости. Просто ничтожно мало причин для сомнений… а тут тьма. Для будущих исследователей — беда. Ведь это просто два разных человека».

11.04. 1971 г. Воскресенье. После полудня приехал в Голицыно. Там первый, старенький, знаменитый Дом творчества писателей. Ю.О. был рад-радешенек, искренне рад. Летал босой по комнате, размахивал руками, нависал откуда-то сверху, шумел приветствиями. Клара (жена Ю.О.) больна и лежит в кровати. Домбровский познакомил меня с поэтом Олегом Чухонцевым, писательницей Ричи Достян…

Домбровского вызвали в ССП к какому-то Гарину для объяснений, по поводу того, что его письмо, направленное в высокую государственную инстанцию, угодило за границу.

— Это Вы (!) меня вызываете и спрашиваете?! Да ещё ручкой делаете так (!) по столу?! Это я вас спросить должен — «Каким образом?..». Написано мною в одном экземпляре, передано в учреждение не по почте— и попадает за границу. Лоботрясы и бездельники сидят у вас там и зря деньги получают. Между прочим, мои деньги. Налогоплательщика! Это я плачу налоги… Их содержат, кормят жирно, поят вволю, а они не могут обеспечить тайну моей переписки с официальным органом. Это же смешно!.. Если они этого не могут, гнать их надо взашей. Значит, они и государственную тайну охранять не могут. Какие же это охранники?.. Бездельники и дармоеды… Вы спрашиваете: «Как туда попало?» Нет, милостивый государь, это я вас должен строго спросить и сделать ручкой вот так по столу: как могло моё письмо попасть за границу! А ну-ка держите ответ. (А то, что не я его туда послал, так это я сам хорошо знаю.) А вот вы с трепетом должны были бы мне ответить нечто вразумительное да ещё извиниться за оплошность. Вот тогда бы я стал вас считать полноценными охранниками. А так — ерунда какая-то…

1.05. 1971 г. С утра снова отправился в Голицыно. Хоть и взял с собой традиционные пол-литра да шоколадный торт для Клары, а в питье сопротивлялся как мог — хотелось послушать побольше из рукописи «Факультета». Вообще-то говоря, дилемма не из легких — для того, чтобы мастер пил меньше, мне следует пить

больше (ему меньше останется, и Клара за такое решение), но для того, чтобы хорошо слушать и понимать, надо пить как можно меньше. Но тогда мастер примет лишнее… С перерывами, обедом и выпивками умеренного свойства, Ю.О. читал в общей сложности часа три. Что за проза — углубленная, психологически обоснованная, без выкрутасов и литературного камуфляжа.

Сначала он читал допрос у следователя и историю с «будильником»-практикантом. Исчерпывающее и великолепное (если такое слово здесь уместно) вскрытие истории создания ОСО (особого совещания) и всей технологии стряпания ДЕЛА.

Потом вернулись вспять, и пошла беседа попа-расстриги, служащего в музее, с будущим сексотом Корниловым (оказывается, «сексот», это официальное название стукача-осведомителя — «секретный сотрудник», а я всегда думал, что это словечко из блатного жаргона)… Тут вся история Иисуса Христа, его апостолов, Синедриона и Понтия Пилата. Но в новой (я бы сказал, анти-булгаковской концепции) — современной и доказательной. Все это — одно из самых сильных впечатлений последних лет… «ФАКУЛЬТЕТ» встанет в очередь и будет терпеливо ждать одного из тех чудес, которыми полна моя страна. Не знаю, колдовать или молиться, чтобы Ю.О. дожил до того дня, когда книга с тиснеными на титуле тремя словами «Факультет ненужных вещей» сможет появиться на свет и он возьмет её в руки.

18.01 1972 г. К вечеру поехал на Преображенку. Он звонил утром и пожаловался, что малость хворает, просил приехать, Клара улетела в Алма-Ату на похороны бабушки…

Приехал, а там… полна коробочка — Юрий Давыдов с женой, муж племянницы Лили и сама племянница, друг мужа племянницы, сивый, лысеющий юноша, видимо, тоже «внешторговец», и, конечно, сам Ю.О. Обрадовался, потащил знакомить, шумел, представлял пышно, с ошибками… Сразу заговорил о Викторе Лихоносове — «Помните, я к вам на дачу его летом привозил? Еще арбуз тогда еле-еле дотащил? — Одним словом, весь разговор о только что вышедшей брошюрке Лихоносова «Люблю тебя светло» (Биб. «Огонек» — 100 000 экз.)

Я знал, что мастер хорошо относится к Виктору, а тут заговорил о нем резко, непримиримо, то с болезненной горечью, то с негодованием. И ни с того ни с сего опять:

— Помнишь, я ж привозил его прошлым летом к вам на дачу? На эту… Гору! Он не пустяковый, он же, гад, всё понимает… Гнет. Затягивает в славянофильский омут… Я в Бога верую, но так, как он это делает, ведь недопустимо… Не читал?., (спрашивает меня) Ничего!.. Вот возьми. Прочтите… Давай на ты?..

Мы не раз уже, по инициативе мастера, под воздействием спиртных и суррогатных паров, переходили на «Ты», и всякий раз в любые протрезвляющие (даже промежуточные моменты) вновь возвращались к милому моему сердцу, неизменному и прекрасному «Вы». Возвращались, куда естественнее…

— «Люблю тебя светло» — это он про меня. Меня, значит!.. Но это же неприлично. Бессовестно… но про меня… (показалось, что, несмотря на решительное осуждение, он все же гордится). Я ему говорил и еще скажу. Так скажу!.. (Кулак навис над всей компанией, готовый к сильному, не шутейному удару)… И не спорь, не заступайся… Мораль — это орудие производства писателя. Кто сбрасывает её со счетов, тот перестает быть писателем… Что, сомнительно?.. Что, «не-сов-сем»?.. Если не так, так… мне цена и всё, что я делаю, может лететь в…

Три поллитровки и две высокие бутылки столового ему показались недостаточно убедительными. Он думал о будущем компании! И ровно без четверти шесть, несмотря на женский кордон, вырвался со своего девятого этажа новой квартиры — и убежал.

Вернулся возбужденный, лицо победителя, и абсолютно наплевать на внешний вид, поставил на стол еще две бутылки водки и не удержался, похвастался. Словно из боя вырвался и победил всех Идолищ Поганых… Он бы, наверное, неплохо воевал, если бы… — Ребята! Вы себе представить не можете, как нам их будет не хватать. Скоро!

Все были более или менее в норме, только перед самым уходом подкосился и рухнул красавец-племянник «из Внешторга».

Вообще-то я заметил, до каких бы высот хозяин дома ни добирался, всегда всё помнит и позднее говорит об этом мрачном часе с полной ясностью, не пропуская ни одной даже невзначай оброненной реплики, ни одной обиды, ни одного высказывания, только лексика меняется с патрициански-высокой, интеллектуальной, на лагерную, приблатненную. Водруженный в старое ободранное кресло, он издали видит красную книжицу в руках Юрия Давыдова:

— Э-э, брат, эта книжица — книжище!.. Как делаются процессы. На наших прилавках лежала — никто не брал… Все чехословацкие процессы — Сланский, Шверма — все!

Давыдов:

— У тебя чутьё. Ты все успеваешь. А я в руках её держал. И не взял…

— А я взял… Ребята! Её надо знать… Её сразу изъяли. Нигде не найдешь. А тебе, старик (это мне)… Чехословакией ведь интересуешься — обязан знать!.. Возьми… У него возьмешь.

На следующий день в десятом часу вечера я на Преображенке. Поднимаюсь — лифт работает — 9-й этаж — дверь приоткрыта, в замке торчит ключ. Что-то случилось?.. Случилось… Мастер лежит на полу в кухне. В комнатах что-то несусветное и только киса Кася да ейный отрок Каташихин спокойно бродят по квартире… У мастера хватило сил чуть приподнять голову. Он узнал меня.

— Ну, ты гений… Как догадался?.. Мне очень надо…

На водворение мастера в постель, мытье посуды, удаление мусора и общую весьма приблизительную уборку ушло более часа… В очередной цикл возвращения к памяти он проговорил:

— … Ложись спать, ты ведь тоже не спал… Ложись… Скажи честно — не сердишься на меня?.. А?.. Худо брат… Найди там где-нибудь одеяло… Прикрой, пожалуйста… Если можешь, не уходи.

— Я посижу. Только не закрывайтесь с головой.

— Я должен с головой… Я по другому не могу… Извини, пожалуйста… Я с головой.

Эта лагерная привычка осталась у него на всю жизнь и поза во сне тоже… Когда так называемые носильные вещи были водворены на крючки и спинки стульев, остались разбросанные рукописи «Хранителя», «Факультета», красивая папка с металлическими кнопками VI-го съезда писателей Казахстана, сегодняшняя газета «ПРАВДА», вчерашняя «ИЗВЕСТИЯ», повсюду валялись несколько огоньковских книжиц Лихоносова «Люблю тебя светло», как листовки революционного подполья… Рукописи я решил не трогать, пусть сам разберется. Машинка «Оптима» стояла на столе с застрявшими в перепутанном пучке буквами и задранной кареткой. А на обеденный стол кто-то положил раскрытый бессрочный паспорт:

Домбровский Юрий Осипович — 29 апреля 1909 г. рожд….
На основании — Утрачен.
Пасп. ХП-СА № 579 639
выдан 5 отд. мил. г. Москвы 30 августа 1950 г.

С фотографии по-тюремному смотрит прямо перед собой стриженый наголо мастер 53-лет от роду, в темном пиджаке, белой застегнутой рубашке без галстука, смотрит так, словно никогда и не моргнет, глубокие складки пролегли от носа и, кажется, сходятся где-то под подбородком, нижняя губа, как всегда, оттопырена… Я вспомнил! Ключ от двери так и остался в замке. Вынул ключ и положил его рядом с Бессрочным паспортом… Ну, что ещё?..

Ещё — Библия. Ветхий и Новый Завет. Полный зубной протез верхний и нижний: «ТАМ вышибли. Полностью!..» Вот, пожалуй… Да! Еще: «Брак зарегистрирован в г. Москве 10 мая 69 г. с гр. Турумовой Кларой Файзуллаевной. Вот так!.. Клара уехала в Алма-Ату хоронить свою бабушку, а Домбровский сошел с рельс.

Перед моим уходом мастер чуть приоткрыл глаза и снова уткнулся в крохотную Кларину подушечку:

— Не беспокойся, старик. Заткни дверь газетой… Никто не войдет… Нет… Я не встану… Чаю не хочу… Ты пришел! Ни с того, ни с сего… Покрыл меня одеялом… подоткнул под ноги… Значит, мы выиграли эту войну. Понимаешь меня?.. Мы выиграли эту войну. Мы победили.

20.01. 1972 г. В половине двенадцатого ночи я опять появился у Домбровского. Последние сутки меня несколько лихорадило — как бы с ним не стряслось что-либо — особенно газ не любит небрежности и загулов. Но, тем не менее, я полагаю, что кривая судьбы, наигравшись с ним вволю, вывезет и на этот раз… Мастер чувствует себя прескверно. Мы засели на кухне пить традиционный чай. Ю.О. нарезал рыбное филе и стал кормить кошек.

— Филе на исходе! — прозвучало как предсказание о конце света. — Надо Клару вызывать. Срочно. Времени потерял уйму и денег поизвел много… Ни к чему это. Все эти компании, друзья. Сил не хватает… Началось все с «племянника», он парень хороший, а жена его… — мастера передернуло.

Он, как всегда, в носках без обуви, в спортивных штанах, майке, и вообще!.. Я вторю ему:

— Пора, пора вызывать…

Он кивает, кивает.

Всё время ходит из кухни в коридор — маятником — и возвращается. Глубоко и тяжело вздыхает:

— Всё отнимает много времени… Я уже должен его экономить. Время — штука коварная. «Меня много, много», а потом — бац! — «Меня совсем нет!» Возрастные перепады чреваты комплексами… Все вроде бы прекрасно, ну прямо замечательно, а время играет внезапными бросками, подозрительностью, обманами… (Снова глубоко погрузился и дальше как бы отвечал уже сам себе на посетившую его мысль)… Скверно чувствую себя, скверно. Под этим делом все перемешивается, и реальность, и вымысел, и даже бред. Потом уже разграничить трудно… И кошмары… Чем плоха такая отдельная квартира — здесь пристукнут, и концы в воду. Даже не узнает никто, — эти мысли сопровождали его постоянно. — Вы не боитесь?

— Нет. Пристукнуть где угодно могут. А зачем?

— Я тоже думаю — у меня таких врагов вроде бы нет… А официальные…

— Да бросьте. Ни к чему это и, пожалуй, наваждение. Вы уже все видели в этой жизни. И я тоже, — стал рассказывать ему о вяземских лагерях, об отце. — Они **там** колупались — строили автостраду Москва-Минск.

— Да-а… — проговорил он. — У каждого своё было, и не поймешь, что хуже… А ваш отец легкий был?

— Легкий, хороший, добрый и… безответственный.

— Легкость и безответственность — это, пожалуй, самые возмутительные и вредные черты нашего характера, — сказал он.

21.01 1972 г. Во второй половине дня я плюнул на все, сел в такси и покатил на Просторную. Накануне мы договорились, что я заеду за мастером и из моей квартиры он позвонит в Алма-Ату Кларе.

В последнее время к нему снова началось паломничество. Кого там только не бывает: писатели, поэтессы, искусствоведы, знатоки литературы, лагерники, бывшие уголовники, просто подозрительные личности, художники всех мастей, не на шутку запивающие люди, типы, считающие себя причастными к высокой общественной деятельности, и действительно являющиеся таковыми, и снова литераторы, писатели, поэты…

На этот раз был литератор детского толка — внешне милый седеющий человек в очках и ещё кто-то. Ели яичницу, пили крепкий чай, Ю.О. непрерывно пересекал комнату туда и обратно, говорил… О законности, об истории права и, наконец, об ОСО, его возникновении, исторических прецедентах — сначала насчитал три, потом задумался, взъерошил и без того неубранную шевелюру, коротко взмахнул руками, поджал губы и произнес:

— Пожалуй, побольше будет, только назывались по-другому… — и стал читать главу из «Факультета», как раз на эту тему. — Вот, пожалуй, и всё, что мне удалось узнать об этом предмете. За пределами описанного лежит, наверное, гораздо большее, но… не знаю.

На улице он почему-то сразу озяб. Зашли в гастроном, там он купил рыбное филе для кошек и долго путался в очень большой нескладной авоське… В метро на переходе «Площадь Свердлова» (мы угодили в час пик) было что-то несусветное — словно похороны вождя, но без народной скорби — еле переступаешь и ребра в опасности. Но мастер легко приспосабливается к любым житейским неурядицам и обстоятельствам — он продолжает в них жить по-своему. Впереди него движется девушка с раскрытой книгой и умудряется читать. Поток сам медленно движет её к

цели. Ю.О. с невероятным трудом извлекает из кармана очки, пристраивается поудобнее, через её плечо быстро прочитывает страницу, еле сдерживается, чтобы не подогнать с переворачиванием листа, быстро прочитывает вторую страницу, прячет очки… Мы сходимся в толпе и он говорит:

— Ни в какие времена такой литературы не читал…

Каждый раз перед телефонным разговором он очень волнуется, ждет, по моему, чего-то нехорошего. Всё время извиняется, что доставил лишние хлопоты. А когда «милая девушка» со скрипом дает Алма-Ату, выхожу в другую комнату… После телефонного разговора он какой-то притихший, вялый.

— Чувствую себя… нереально… Здорово меня эти дни повытрясли…

Ушел внезапно. Заторопился, сказал — нездоровится.

Забыл рыбное филе. Вскоре вернулся, извинился, поблагодарил и пустился в путешествие на Преображенку — большой, в светло-сером цигейковом малахае, кашне такое, что и не сразу догадаешься, что это кашне; пальто демисезонное, длинное, тяжеленное; волосы выбиваются из под малахая в самых неожиданных местах… Так и хочется застегнуть ему рубаху на верхнюю пуговицу, поплотнее укутать в нетеплое кашне, его, навеки неустроенного, огромного (падать ему хуже, чем небоскребу), и вместе с тем такого незащищенного… И пожелать, чтобы как можно скорее Клара приехала, а то, неровен час…

На всякий случай спросил:

— У вас денежка есть?

— Есть, дорогой, есть. Все в порядке, — махнул рукой, нахохлился и пошел.

Пройдет день, самое большое два, и я неожиданным образом прыгну в такси… К нему я всегда тороплюсь, немного волнуюсь — застану ли?.. И гоню дурные мысли.

Клара вернулась. В квартире снова порядок. Обед из трех блюд с неизменным киселем из концентрата — личное изделие самого мастера. Киселем угощает раньше, чем обедом. Но чувствует себя «средневато». «Какой-то бок болит. Наверное, ударился».

Жена поехала со мной, и это уже семейный визит… Следует отметить, на него женская красота действует по-особому — он меняется в лице без каких бы то ни было намеков на ухаживания. Ю.О. ценит женскую красоту и считает её даром чрезвычайным. С особой одухотворенностью произносит слово «красавица» (!) и хочет одной интонацией убедить собеседника в том, Как Она была невыразимо красива… И снова — бултых! — в литературу:

— Критика может открыть негативную сторону

художественного произведения, но научить писать не может. Я вообще никогда этих критических и литературоведческих работ не читаю. Тут меня ткнули — «прочти! Лихоносова ругают, а тебя хвалят». Довольно нехорошая история. Чудакова — она по Олеше специалистка, а её муж по Чехову — чеховед… Но когда рядом цитаты приводят получается неловкая картина… Если бросить в кибернетическую машину Чехова, Бунина, Толстого, то она выдаст Юру Казакова — «Россия не переменилась, она всегда та же». Это для Запада. «В массе ничего не произошло!» — Про-и-зошло и ещё о-го-го сколько произошло! «Душа, мол, не затронута!» Чего Ваньку-то валять, ты определи, что затронуто, что изменилось… а те уж — Чехов, Бунин, Толстой — свое дело — сделали.

…У Шукшина проза жестче, чем у меня, в сто раз. «Кинематографичность диалога!» — так это хорошо или плохо?!

У него главный герой вот такой как есть; бездумный вроде бы и жесткий, а то и «жестокий», «а всё равно славный», — утверждает Шукшин. Он не гребет из глубины, а, вроде, бы распахивается — «такой вот, и всё тут!». Не густо. Но он мне нравится. Его герой без каких бы то ни было условий. А сам, видно, мутноватый… Всякий.

…Условия любого договора — это Жизнь! А не требование отнять ее. Риск может быть поставлен в условия договора (например, летчик-испытатель и т. п.) Вот у Достоевского «Зимние заметки о летних впечатлениях»… Подвиг — детонация человеческой личности. На фейерверках похлебки не сваришь. Энтузиазм — не планируемая категория… Не планируемая. Все запасы этого товара истощились (рассмеялся, попытался управиться со свисающим чубом, почесал выпирающий живот). О. Генри сказал — «нельзя писать водой. Но и кровью нельзя писать. Надо писать кровью сердца, но не своего сердца, а чужого».

Моя жена взяла 9-й том Бунина и стала читать вслух о Горьком, о третьем Толстом, опять о Горьком… Мастер слушает, как будто все это открывается ему впервые. Уложил лохматую голову на руки, руки лежат на столе, глаза сияют от удовольствия, не слушает, а впитывает… Рад.

Она читает хорошо — саркастично в меру, чеканно, темп немыслимый, но ни одно слово не теряется, — ядовито получается: «Бунин, как есть Бунин!»

По второму кругу добрались до Максима Горького.

— Горький был за культ своей собственной личности в литературе… Они и сговорились… Горький — единственный в своем роде человек — он был за культ ДВУХ ЛИЧНОСТЕЙ! Они с Иосифом поняли друг друга и эдакий молчаливый союз сбацали.

У них получилось.

Разговор пошел об алма-атинском художнике Калмыкове. Клара подарила мне экземпляр журнала «Простор» с публикацией Домбровского. Он взял ручку и коряво, старался начертать каждую букву, прибавил к загадочному печатному слову «Фрагмент» надпись: «Из романа «Факультет ненужных вещей» — «Дорогому… с Любовью и Вырой в него. Домбровский». «Ять» возвышалась над дарственной надписью, как крест.

— Вот книги сегодня в лавке писателей накупил. Сестра Цветаевой — Анастасия целый кирпич накатала с портретом (собственным, конечно, на всю страницу!) — посмеивается. — Ну и ну… Тут и о Пестеле в Политиздате… Теперь все историки! Современниками-то быть опасно стало и трудно, и противно, и безнадежно, и… — горько и сильно отмахнул сразу двумя руками… (Раскрыл новую карту Ближнего Востока в приобретенной антиизраильской книжке — стал сравнивать с картой из Библии, сетуя на то, что в библейской никаких границ вообще не обозначено.) Я смотрел на него: мастер навис над столом и над картами… Подумал: «… сонм не реализовавших себя и в сотой доле людей. Системе это не нужно! Более того — система считает, что ей это вредно. Она готова кое-как кормить, поить художника, лишь бы он только ничего не делал — не реализовывался. Доходными статьями стали воинствующее безделье или буйный, неудержимый холостой ход. Последнее даже воспевается и награждается непомерно. Ю.О. уйму времени тратит на рецензирование рукописей журнала «Новый мир»… И всё это за гроши — десятки, двадцатки, сороковки… А без них на пенсию в сто рублей в нашем Новом Мире и вовсе ноги протянешь». Однажды Ю. О. сказал:

— Я ведь в Алма-Ате когда-то директором школы был, — его глаза засветились. — Со всего города просились в мою школу (он даже зафорсил и загордился). Это очень интересное дело!.. Но меня оттуда тоже загребли, — и засмеялся. — Это я вам как-нибудь в другой раз… Так о чем мы говорили?.. Да!.. Ну и влипли вы с этим Марком Колосовым. И хлипкий, и не болтун, а опасный тип. Но держитесь. Надо выдюжить. Есть ради чего…

По повести Марка Колосова Евгений Габрилович и я пишем киносценарий. А потом я еще буду снимать фильм — «Товарищ генерал». Этот тип (Марк, разумеется) порождение всяческих недоразумений, но если эти испытания я выдержу, то меня, скорее всего, возьмут в штат киностудии «МОСФИЛЬМ». Вот такие выкрутасы.

Колосов в 49 году еще с одним подонком, вы его тоже знаете, прикатили ревизорами Союза Писателей в Алма-Ату. И этот

подлец такой донос-рецензию накатал…

На «Обезьяну»?

На «Обезьяну». Вроде бы я написал апологетику фашизму. Вот дурак не безвредный. И ко всему-то он присосется, и ко всему прямое отношение имеет.

Говорят, он в молодости красивым был?

Не верьте. Всегда вот этакой жабой с зубами и был. После его писаний и прямо опираясь на них, меня тогда и усадили.

13.02. 1972 г. Поздно вечером…Клара спустилась вниз за вечерней почтой и принесла пакет от Лихоносова:

— Сразу догадалась — «Люблю тебя светло»! Странная, я бы сказал, претенциозно-намекающая надпись прямо на обложке: «… кого я любил непритворно». Как будто его кто-то все время подозревал или он сам себя подозревал, но проверил и выяснил: непритворно!

— Я каждый раз с ним только об этом и говорю. Нельзя, когда твои близкие жидоморством занимаются, когда власти закон нарушают, шабашничают, сажают, сколачивать «Общество РОССИЯ» — это нехорошо. Надо же понимать!.. А он понимает. Но, все равно, якшается с ними и меня туда тащит. — «Я, говорит, вас не тащу». — Да как же это не тащите? — кричу, — когда приписываете мне фразочки, которых я никогда и произнести-то не смог бы. И не произносил! Вот и крутятся они, и лезут, и кричат, и издают друг друга, и общество сколачивают «Ты мне, я тебе — РОССИЯ!» А авторитета НЕТ!.. Авторитет-то у нас и верят нам. Хоть, может быть, нескромно, а факт — авторитет у нас.

А потом сокрушенно добавил:

— С деньгами совсем скверно. Вот чуть вышибло из колеи с этой «бесплатной квартирой» — и всё! — Махнул сразу двумя руками. — Придется опять за рецензии браться. — Зашагал по комнате и как-то съёжился, вроде бы пожалел, что сказал.

22.02. 1972 г. Вчера ездил — не застал, а сегодня застал. Дал Ю.О. небольшой список замечаний к «Царевне-лебедь», чтобы приблизить рассказ к пресловутой сценарной форме. Он очень доволен, не уверен, что получится, но обещал. А я уверен, что получится, если ему удастся засесть за работу хоть на полчаса… С одной стороны, я ведь отрываю его от романа, а с другой — это единственная возможность выскочить из круга финансовых затруднений. Риск здесь в двух-трех днях, а в случае даже частичного выигрыша можно будет решить денежную проблему почти на год.

1.03. 1972 г. Юрий Осипович Домбровский заставил меня работать регулярно и прочел всё, что я умудрился написать. Он умеет ждать и меня старается научить. И хвалил, и подбадривал,

и поругивал, но больше хвалил — «Ругателей вам и без меня хватит» — это его слова.

3.05. 1973 г. Я действительно давно ничего не записывал. Но до того ли было. Картина «Товарищ генерал» отняла все силы и всё время. Досрочная сдача 28 апреля, поправки, советы и просмотры. Да что там… Наконец появилась возможность показать ленту друзьям, знакомым, и я пригласил Домбровского с Кларой.

В назначенный час мастера у проходной не было. Не было его и в тот момент, когда все приглашенные уже сидели в зале и терпеливо ждали. Пришлось предупредить охрану студии, что ежели придет такой высокий, не вполне причесанный человек, с такой фамилией, то направьте его в зал номер три. С 15-минутным опозданием начался просмотр, и мне тут же сообщили по телефону, что Домбровский уже прошел проходную, но… (этого «но» я больше всего боялся).

— Что, он навеселе? — спросил я.

— Извините, но сильно… и…

В грохоте первого завязавшегося на экране сражения раздался требовательный стук в дверь, стук был бескомпромиссный и показался угрожающим. Он возвышался над настоящим шквалом экранных взрывов… В темноту зала ворвалась метущаяся фигура, — не успев садаптироваться, хотела сразу найти здесь главного и сходу объясниться с ним. Я бросился навстречу, сильнее, чем следовало, схватил его за локоть и усадил в кресло с краю ряда. Мастер хотел, по-видимому, тут же остановить просмотр, так как ТАМ, за воротами студии у него остался некий приятель или знакомый не вполне советского происхождения… Тоже «не совсем, а немного, но не настолько чтобы…» И ещё он успел проговорить — «Ты меня извини, старик, но не было никакой возможности…».

Пришлось повести себя несколько круче, чем в мирной жизни, и чуть мягче, чем на войне. Мастер остался сидеть в кресле, его знакомый остался за воротами и просмотр вошел в обычное напряженное русло — труд двух лет предстал на суд родной общественности без дополнительных помех… Я краем глаза все время следил за ним, готовый в каждую секунду броситься на помощь терпящему бедствие кораблю, но стал постепенно замечать, что мастер быстро трезвеет — его поза, устремленная вперед, навстречу экрану, говорила, что он заинтересован и досидит до конца…

Когда в зале зажегся свет, Домбровский сообщил главному консультанту, дважды Герою Советского Союза, генералу армии, что это настоящая лента, и её основное достоинство в том, что

здесь нет ни грана лжи. Дважды герой и писатель понравились друг другу. А мне Ю.О. конфиденциально сообщил:

— Молодец, старик, сделал картину. А я идти боялся — вдруг не понравится… Сценарий-то был… того… Тухлый…

3.08. 1973 г. Мастер встретил меня без обычной шумной приветливости и прямо в прихожей объявил, что обижен.

— Вы знаете Емельянова?.. Почему я должен узнавать о вашем дне рождения от Емельянова?! — это был уже выговор.

Поначалу я даже не мог понять, о каком Емельянове идет речь и за какие такие прегрешения Домбровский вдруг шкурит меня. А он отойдет не скоро, — обижается он кровно и смертельно… То, чего мне больше всего не хотелось, и чего как-то опасался мастер, произошло. Пустяковая, но трещина….

Я знал, что Ю.О. преувеличенно подозрителен, но теперь пришлось понять, что он ещё зверски раним и ревнив… Скорее всего, он сам чувствовал себя несколько виноватым и тем сильнее была его обида… Я, как умел, старался сгладить неловкость этого досадного недоразумения.

… Мало-помалу он угомонился, и мы беседовали:

— Вы человек второй половины жизни. Есть люди первой половины жизни, а вы второй… И мало кому дано быть человеком двух половин. Это уже титаны. Да и гении в большинстве обе половины не осиливают…

Я рассказал, что по «плохому радио» на этих днях передали большой очерк об алма-атинском скульпторе Иткинде — подробный очерк. В рассказах Домбровского о художниках города Верного есть глава об Иткинде.

— Это гений… — он снова стал ходить по комнате. — Смотрите. Это Иткинд. Одна из самых последних его работ. Цены ей нет. После моей смерти обнаружат. Один из самых последних Иткиндов… И это Иткинд…

На платяном шкафу и над дверью — два одинаковых скорбных лика, — будто бы вырубленные в дереве, а на самом деле папье-маше. Сила и выразительность этих работ были несомненны.

Он, когда дарил, сказал:

— Вот он, «Я на том свете».

— А почему в кудрях теленочек над головой?

— «Ну, хоть теленок из меня на том свете получится?» — ответил скульптор. — Я ведь был с ним знаком — мы разговаривали… Может быть, скульптор прикидывался?.. Я как-то поначалу засомневался… А потом — нет! Это гений… Вот мы с вами не гении. Правда — не гении?.. — Глаза хитро светились. — Мы не барахло — правда ведь? — Объединение под

сомнительной формулой «мы с вами» выглядело сильным преувеличением. — Мы с вами — нечто! А он — безграмотный гений… Мои очерки о художниках в «Новом мире» напечатают. И ещё в Казахстане должны, в роскошном издании с цветными иллюстрациями. Только просят: «Выброси Иткинда». А я им сказал: «Туя-Вам-Туя! Иткинда не отдаю… Не отдам».

Он долго настаивал на этой форме своего несогласия с пожеланиями редакции, а скорее всего — старался укрепить себя и дать клятву в чьем-нибудь присутствии не предать памяти трижды преданного и вечно гонимого «еврейского Микеланджело».

Разговор пошел о Михоэлсе и Зускинде.

За кулисами в ГОСЕТе (Государственный Еврейский Театр) Ю.О. представили Соломону Михоэлсу. Дело было перед спектаклем, и Народный артист пригласил его выпить после спектакля и поговорить (а не поговорить и выпить — что не одно и то же!) Михоэлс к моменту знакомства уже знал о Домбровском и потому сразу принял его с расположением и широтой.

Вениамин Зускинд (тоже Народный артист) призвал пить «так, как могут пить евреи!» Так и пили — по-русски.

Мастер вспомнил Потоцкую (вторую жену Михоэлса), и пожалел её сокрушенно:

— Она ведь одна пропадает… Родственники-то уехали. Кто ж за ней присмотрит?.. Её тогда, после убийства мужа, споили.

— Сознательно споили… Из дома не выпускали, а спиртное ставили на стол в неограниченном количестве. Красавица была… Красавица! И охранников при ней содержали. Прямо в её жилище…

Постепенно утихли воспоминания, и мастер стал читать мне главу из «Факультета» — о вожде, работающем за столом в саду и об одном из невероятных случаев — вождь помиловал человека, приговоренного к расстрелу…

Кончил читать — и традиционное:

— Ну, как? Ничего?.. Такому закоренелому, как этот Сосо, должны быть засчитаны все его добрые дела, а то перекос будет — одни убийства, что ли?

Папка с «Факультетом» уже превратилась в фолиант и лежала на стуле.

— Объемистая, — заметил я.

— Да-а… — возликовал мастер, схватил её двумя руками и, в замахе подняв высоко над головой, тяжело с ударом опустил её на сиденье стула. — Этой штукой уже убить можно! — в его глазах сверкнули бесовские огоньки, и он тихо рассмеялся.

В этот день я ощутил, что мастера непрестанно мучают

приступы совести, и он от них шалеет:

— Д… опять дали три года, а ведь я верил, что он стукач… Стыдно… Но, старик (на его лице появилась одна из самых болезненных гримас)… Я ведь свое отсидел, оттрубил?.. Как думаешь?.. А?.. А все равно стыдно…

У меня дома. Настроение у всех скверное. Вокруг события мрачные. Ю.О. каждый раз, когда звонит Кларе в Алма-Ату, очень волнуется и не может сосредоточиться. А звонит всегда от меня, говорит, что от него автоматика не срабатывает.

На дамский, риторический, брошенный в пустоту вопрос: «И долго еще все это может продолжаться?!» — он пожимает плечами, широко разводит руки, пытается пятерней сгрести и откинуть нависающие на лоб густые волосы, плотно сжаты губы, и ходит по комнате. Это означает некий старт, концентрацию, после которой будет рывок, атака.

— Привозят нас в порт Находка. Холод. Ветер продувной, порывами. Небо свинцовое, висит прямо над головой. Выгрузили. Шесть тысяч зеков — стоят партиями — лагерь-пересылка, две версты в любую сторону. Сумерки… Меня и ещё одного хмыря снарядили за кипятком. Искали-искали — нашли. Титаны огромные, как дома! Под ними огонь бушует. Костры прямо из непиленных бревен. А от огня очередь извивается, уходит за горизонт. Скрюченные зеки ждут, когда в титанах вода закипит… А кто знает — когда?!

И он посреди комнаты глубоко присел на корточки, втянул голову в плечи, мигом захлестнул полы пиджака — укутался и прикрыл макушку закинутыми руками, а кисти утопил в рукавах — ни дать ни взять, насквозь промерзший зек, — и из этого клубка слышится:

— А таких ты-ы-ысячи!

Он резко распрямляется, встает — хоть и сутулый, а отменно высокий, — и его интонации становятся грозными:

— Там внутри все гудит! Варится… Я и говорю напарнику: «Вот сейчас наберем». На меня как кинутся: «Су-ука! Гад!.. Мы здесь второй час корчимся. На сифоне! А он, падла, пришел и сразу… Да мы! Да я! Да тебе! Да тебя!..». За несколько секунд до того они проверяли, и ни капли не вытекло… «Друг, — говорю, — потому я и наберу за пять секунд, что ты ждал и корчился тут два часа или два года. Смотри!» И открыл кран. Оттуда ка-ак хлобыстнет! Крутой кипяток! Всё сдвинулось, загудело, тут уж им не до меня было. А мы набрали полные посудины и пошли… Никто в мире не знает, где и когда закипит — руку не приложишь, внутрь не заглянешь. Кто знает: где? когда? как?.. Хлынет — и всё.

Тихо улыбнулся, понимая, что притча сложилась и произвела впечатление.

— Базис да-авно уже не покрывает потребности непомерно разросшейся, разбухающей надстройки. Да-а-авно!.. Только барон Мюнхгаузен мог заткнуть задницей Великий или Тихий океан. Мы, увы, не Мюнхгаузены.

Вчера 3 октября дал Юрию Осиповичу экземпляр записей… Зачем я это сделал? Надо было спрятать подальше и никому не показывать.

21.10. 1973 г. Я спросил мастера, не обижается ли он, записи ведь не сладкие… Он заходил по комнате.

— На вас мне обижаться нечего. Если уж обижаться, то на себя. Тут обиды не помощники. Чего уж там обижаться…

Сообщил, что сдал книгу в СП и показал перечень названий; книга об алма-атинских художниках и плюс три рассказа («Царевна лебедь», «Леди Макбет» и ещё один…) Опасается, что в Казахстане его обставят с гонораром. И не зря опасается. Обязательно обставят… Потом, про выброшенные места из моих записей о мастере, сказал:

— С этим местом поступайте как хотите (смущенно заулыбался)… Интересная штука и странная может получиться… со временем… Тут слух по Дому литераторов разнесся, будто меня исключать собрались за избыточное принятие спиртного. Пытался распутать, все говорят, что «сам не слышал, а сказал такой-то…» Будто все нити идут к Юрке Казакову, а там ещё к одному…

Я порекомендовал догадок не строить, а прямо спросить Юрия Казакова. До того ни в коем разе никого не подозревать. Водка может быть только предлогом, а суть дела может оказаться в романе — «Факультет ненужных вещей».

Он затих и стал поить меня чаем.

— Вот попробуйте — «Цитрон» называется. Грузинские штучки — варят варенье из недозревших мелких мандаринов и сразу название — «Цитрон»!.. Замечательное изобретение, и главное — дешево. Удивительно — грузинское и дешево…

Уже когда я собрался уходить Ю.О. сказал без особой связи с предыдущим:

— Патетическая сцена обычно подавалась на высокой ноте. С заломленными руками. Вот почему на фильмах Довженко почти всегда были полупустые залы. Исключением был «Арсенал» — там всё было открытием и в десятку!.. Нельзя найти некий принцип в органном регистре и абсолютизировать его. Да ещё этой отмычкой пытаться открыть все двери. Получается скука — нерастворимое восприятие. Настоящий художник не начинает с

басовых нот — он доводит до них. Грохочут не загруженные, а пустые бочки…

В «Советише геймланд» опубликовали его рассказ о скульпторе Иткинде:

— А прислали девяносто рублей, гады… Там львиную долю гонорара переводчику выплачивают. А автору кукиш без масла — и так проживет…

Подсчитали — Домбровского перевели на 13 языков. Клара шутит:

— А Хемингуэя на четырнадцать!

13.11. 1973 г. — Как все-таки хорошо, что можно вот так сидеть, говорить и… за это не сажают. (Оптимизм по Домбровскому).

Так называемый племянник и его друг, похожие на гебистов, В ПИВНОМ БАРЕ. Черт нас туда занес, уже нетрезвых… Бар битком, и никто не обращает друг на друга внимания. Все бродят, протискиваются и стреляют пустые кружки — остальное механизировано, а пиво дрянь моченая, и его сегодня хватит всем. Взяли по пять кружек. Я сказал: «Много». Мне взяли четыре… Красавец-племянник все время норовит тихо нырнуть под стойку и никуда больше. Его друг-другович, Игорь, мертвой, профессиональной хваткой, сбивая шляпу, прижимает его то к стенке, благо она рядом, то к стойке, а то уже прямо к дереву! (Оказывается, мы уже на улице…) И почему-то все время зажимает ему рот, хоть красавец и не пытается слово молвить. Только совсем изредка еле-еле выговаривает: «Х-х-х… у-у-у-мой… лья…» — что в переводе, кажется, означает — «Христа ради, отвезите меня домой, а то жена Лийка загрызет меня натуральным образом».

Мастер все время хочет еще куда-нибудь и изрыгает свой политический и интеллектуальный пафос, а ноги уже плохо держат — ему бы эти три квартала до Просторной улицы преодолеть и то «Слава!»… Я тоже хорош, но обязан держаться — кто-то ведь должен… Прощание. «Органы» в бессознательном состоянии расстаются с любимым писателем… преисполненные лучших чувств или их полного отсутствия… Моделирую миры, от космологических до формалистических: яйцевидный, белый (не прозрачный), затем бирюзовый овальный (на подобие Спаса в силах)… А там уж конструирую Мир из лестниц, уходящих в пропасть бесконечную — вниз!.. Как неосуществимую театральную постановку или декорацию, которая не поместится ни в одном театре мира. Разве что в главном каньоне. Там бы здорово получилось.

Вот что такое ПИВ-БАР… Где-то внутри каньона Домбровский

произносит: «В книге о протозеях я прочел — если бы не было борьбы за существование, то биосфера, свободно размножаясь, в два месяца создала бы массу, эквивалентную шару в двадцать четыре раза большую Земли. Всего за два месяца!.. А во вселенной?!

— Стал переливать из пятой кружки в четвертую… (Оказывается, мы опять внутри БАР-Р-РА). Он ухватился за кружку двумя руками. И переливает — «За борьбу!.. За существование!» — «племянник» ловко ныряет под стойку, но Игорь или Рудик, черт их разберет, в последнее мгновение хватает его за шиворот, рывком вытащил оттуда, шмякнул спиной о стенку — хорошо не затылком! — и намертво подпер предплечьем так, что тот захрипел. Но это пустяковое обстоятельство не мешает осуществить тост «За борьбу за существование!»

Середина июля 1974 г. На даче — Николина Гора. Ю.О. приехал с Кларой и сразу закрылся со мной в хоромине на втором этаже. Простор для него больше, чем счастье, а тут… раздолье. Два с половиной часа он ходил босиком по комнате, и беседа взлетала, парила под потолком, порой заземлялась и отдыхала… Солженицын не дает ему покоя. Он с ним не согласен в основных положениях своей позитивной программы (Китайская угроза, Сибирь — как панацея от основной болезни мира и т. д. и т. п.) Но где-то есть затаенная зависть и горечь своей неспособности к такой титанической работе, при безусловном преобладании образованности — в большинстве гуманитарных наук.

Во всех поворотах тем исходной является Александр Исаевич… Случайно нападаем на тему о Рюриковичах — одним махом наизусть диктует (чуть поплутав в междуцарствии), а потом выстраивает с датами весь ряд Романовых от Михаила до Николая Второго.

О китайском солдате говорит, как о чем-то совсем близком:

— Свободную волю он проявит не тогда, когда на него наставлены пулеметы в спину, в затылок, а когда они встретят его в лицо и предложат выбор: «смерть или плен?». Вот тут он выберет. Потому что в этой войне он НИЧЕГО не получит. Там у него все отобрали и здесь ВСЁ отберут. И он это знает. Ну, там совсем уж заядлые будут ещё сражаться за этот Китай, а остальные не станут… А вот наши, уж с кем с кем, а с китайцами будут воевать не за страх — насмерть. Наши-то знают, что (!) он, Китай, нам может преподнести. Это каждый Ванёк знает на собственной шкуре и судьбе (… это он всё в пику Солженицыну). Нет этой китайской угрозы и в помине — и это должен знать каждый желающий понимать. И нашей угрозы Китаю НЕТ! На кой

хрен нам этот Китай? Мы же его можем получить только с китайцами. А что мы будем с ними делать?.. Их же кормить надо!

Сибирь и её освоение — это другое дело. Но это вопрос экономический, а не политический. И делать тут всё надо спокойно и планомерно, а то получится Новая Целина (!) со всеми её экономическими и изуверскими коллизиями. Сначала надо обеспечить продвижение и освоение, а там уж заселять, и развивать комплексно, разумно и по-человечески. А не наоборот…

О МИХ. АФ. БУЛГАКОВЕ. И люблю, и ценю почти все произведения этого писателя, а вот ваши да и всеобщие восторги в адрес «Мастера и Маргариты» не разделяю. Это плохой роман. Само по себе там всё более или менее нормально, но чего это он там в семирадовщину ударился?.. Это же пошлость и безвкусица… Каких-то писанных красавиц там обнаруживает, обнажает их по-семирадскому, и все это в Москве 20-х-30-х годов!.. Ну, это всё ещё куда ни шло, но когда он подбирается к Иисусу Христу и Понтию Пилату — это уже ни в какие ворота…

Своему оппоненту, молодому физику, с некоторым раздражением:

— Да поймите вы! Иисус с точки зрения Иудеи — коллаборационист и выгоден Понтию. Права Понтия огромны и власть тоже, но у него нет «права меча» — то есть казни. Казнить может только власть поверженной Иудеи… Страна оккупирована и находится под властью Рима. Вся её сила в сохранении и незыблемости Храма. А Иисус пришел и заявил: «Я ЗА УКРЕПЛЕНИЕ, ЗА НЕЗЫБЛЕМОСТЬ» — и тут же стал разрушать.

В этой ситуации поддержка Иисуса — поддержка коллаборациониста — в оккупированной стране…(!) — ну, знаете!.. Они к Нему со всех сторон подбирались — никак… Всё открыто — и в рамках закона… (Физик опять попытался возразить, но мастер, вроде бы, его и не слышал)… Откуда взялось это — «БОГУ БОЖЬЕ — КЕСАРЮ КЕСАРЕВО»?.. Монета с изображением римского императора в Храм не могла быть внесена — вот откуда взялись менялы возле храма. Ему (Иисусу) показали монету Рима и спросили: «Можно ли внести её в Храм?» — а там изображение императора… Ловушка. Казалось, выхода нет. Если Он скажет: «Можно» — идет против страны и её общности. Если Он скажет: «Нельзя» — идет против Рима. И то и другое наказуемо… Вот тут Он и извернулся великолепно: «Каждому своё!» — И избегает наказания… Но, действуя в рамках закона, Он его все-таки преступает — это тайное собрание ночью — «ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ», где Он говорит явно наказуемое… Его предает один из своих… У Булгакова тут нет концепции и нет

взгляда. Это какая-то сказочка, без смысла и значения. А когда вот-вот обнаруживается пустота, он дает красочные картинки Семирадского. Потому что концы с концами не сходятся…

Физик не успевает в запале раскрыть рот, как Ю.О. внезапно оставляет застолье и выходит во двор. Там гуляет босиком, заложив руки за спину. Злится больше всего сам на себя. Бурчит что-то… Поравнявшись со мной, произносит:

— Ду-у-рак какой-то, этот ваш… «честный физик». С ним не спорить надо, а колом… Для него кол — это аргумент!

— Юрий Осич, не горячитесь, — говорю. — На мой взгляд, в споре за истину вы передергиваете: в каком году писал Булгаков и в какие годы написали вы?..

Мастер сникает, сопит, потом вскидывается, как жеребенок:

— Да, ну их всех! Пойдем выпьем!

2.10. 1974 г. «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕРЕЙ»… Клара в больнице. Мастер приехал прямо оттуда, в полной прострации и измучен крайне.

— Всё отвратительно. Дома такой беспорядок, что и восстановить трудно: стоки засорены, денег нет, не работал ни одного дня — всё время мотаюсь по всяким делам, и передачи Кларе надо возить через день. Вот седьмого матушка приедет, может быть, уладится как-нибудь с её помощью…

Домашняя работница кормила его, а я отпаивал крепким чаем. Он стал понемногу приходить в себя…

— Господин-товарищ N (ленинградский) схлопотал 4 года и втащил в дело много людей, отрицал распространение и показывал на тех, кому давал читать свой опус. Антисоветские деяния отрицал. Явление нехорошее. Приезжала его жена — советуется что делать?..

Тут снова заговорили о Солженицыне.

— Ну, эту тотальную критику культа они всё равно проглотят… Скоро. Очень скоро он им понадобится, и они его позовут. Ведь он за абсолютную власть — это главное. Негативная программа у него исчерпывается, а без позитивной не обойтись. Тут у него провал, пустота. Без позитивной программы сегодня нет писателя… Его позитивные явления просто неумные, да и вредные. По существу — «Освоение Сибири и Дальнего Востока»! — Да с благословения Солженицына! — За это ему только спасибо скажут. Представьте себе Целину Хрущева, да с благословения Александра Исаича!..

Теперь — КИТАЙСКАЯ УГРОЗА! — да под это дело можно творить что угодно: и зажимать, и выворачивать, и толочь в ступе… Нет. Это блеф, туфта какая-то… А ведь настаивает на этой угрозе. Не умное и ограниченное, опасное, по сути,

предупреждение. Да и никому не нужное — абсолютной власти на руку…

Ну, что еще?.. Явное РУСОФИЛЬСТВО — некая исключительность и таинственность России — как ново и продуктивно!.. Да под этим пассажем любой черносотенец подпишется, да ещё «ура!» ему кричать будет.

Остается Христианство — да чего тут возиться? Церковь и эту власть поддерживать будет — это вопрос, как сторгуются. Да это вообще не проблема.

На донышке — ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ… Уже всем яснее ясного, что марксизм, который признают ВСЕ: и наши, и китайцы, и албанцы — и те и эти — устарел. Кое-где стараются даже и не поминать его, а то ведь он мешает… Нет. Тут новая теория, новая социальная концепция нужна. А он её не чувствует, не знает, а в пророки и всесудейство упорно лезет.

Домбровский может много и сделал немало, но нет у него сил по-настоящему выйти на ристалище. И тут не только желание хоть как-то дожить без тюряги, но и водка. Она его просто губит… У меня появилось такое ощущение, что он подсознательно тянет с завершением романа и не успеет его дописать, оставит всё хозяйство последней части потомкам — мол, пусть колупаются и разбирают иероглифы в школьных тетрадках…

Прут к нему — кому не лень. И все-то от него чего-то хотят, а он ничего сделать этим людям, вдовам, ожидалкам, литпретендентам и просто претенденткам не может. Ну, разве, польстит малость их авторскому самолюбию; ну, разве, удостоит великолепной беседы, а там уж под это дело и запить можно… Слегка или до упора. Больше всего ему сейчас нужны хоть какие-никакие деньги. А вот с этим предметом совсем скверно.

— Всё, всё разваливается. Водопроводчик пришел, ремонтировал сток — я ему два рубля дал, а он напился. Мне из домоуправления — звонят — «Зачем напоили?!»

— Грозят… А сток опять засорился. Снизу донос — протест! — выселить!.. Как думаете, могут выселить?.. Ключ от шкафчика с рукописью потерялся. Не могу найти… Как бы рукопись кто не выкрал… (Испугался Ю.О. не на шутку — представил себе всю непоправимость такого бедствия).

— А у вас были посторонние?

— Разные были, где их — «своих» напасешься (усмехнулся), но я не знаю. Вроде, таких уж — не было… Профессор тут приходил, всемирно известный физик, просит: «Возьмите меня секретарем, а то выселят судом за тунеядство» — но мне же не разрешат взять секретаря?.. Он говорит, что опустил письмо в мой ящик. Я сразу после его ухода к ящику — нет никакого

письма.

Видно, сильно прижало мастера по всем линиям — при изрядном стечении людей он заявил мне:

— Давайте вместе сценарий сделаем. Такой, какого у них не было — настоящий!

— Вы что, решили со мной поссориться?

— Да причем тут…

Я крепился и дважды промолчал. Ю.О. все активнее предлагал двинуться в атаку и написать сценарий «такого, ну такого фильма»… Я проводил рекогносцировку, кое-что узнавал, наконец выяснилось… Мастер в третий раз атакует меня со своим предложением, и я соглашаюсь. Только предупреждаю:

— Вот при свидетелях… Я вам ничего не предлагал. Всё это затеяли вы сами — и, чур, на меня не сваливать. Я действительно хочу с вами работать, но ответственности нести за эту каторгу и унижения не намерен. Григорий Чухрай согласен принять от нас заявку на сценарий, а остальное покажет время.

Половина Москвы уже знает, что Домбровский приглашен в Экспериментальную творческую мастерскую Чухрая писать сценарий. Аванс, разумеется, получен, и последствия заметны…

7.10 1974 г., по телефону. Мастер еле выговаривает: «Мы с вами сделаем такой фильм, какого у них не было!.. — Явно работает на сидящих рядом слушателей, обязательно женского полу, я уже научился различать эти выкрутасы. — Закон — это выработка нравственных, этич… социлогич… — норм на протяжении двух-двух с половиной тысщ-щ-щ лет… — (Борется с распадом сознания и старается выстроить мысль). — Нет государства без закона. Закон неподвижен, как египетская мумия… Закон не должен быть, как мумия!.. Вы поняли меня?.. Нет, вы меня поняли? (Ну, это уж слишком…). Вот такой фильм мы можем сделать… Ура…».

7.11. 1974 г., по телефону: «Вы сами знаете, что сейчас пишут вещи с ослабленным сюжетом, а то и вовсе пренебрегают им. Хороший сюжет — острый! — сделать литературно добротно очень трудно. Он выпирает, предъявляет свои требования, и любое, даже серьезное, отклонение или отступление от него, воспринимается читателем враждебно. Хороший сюжет, коль взял под узцы, так уж гони! — гони-гони!! И здесь автор себя проявить не сможет. А режиссер и подавно…».

Я воспользовался хорошим случаем и попросил:

— Юрий Осипович, дорогой, очень прошу вас, очень, не беседуйте вы со мной по нашим делам с чужих телефонов. Вы же обещали. Очень прошу вас.

— Извините, ради Бога. Простите дурака. Я под банкой, а они

обступят и прижимают — «Позвони, да позвони… Скажи ему скажи!» Я и леплю. Извините меня — не буду. Вот… — не буду.

Март 1975 г. Звенигород. Дом отдыха «Связист».

Профсоюзники дали мне аж две путевки в один из занюханных домов отдыха «общего типа» — зато в башне, и каждому отдельный номер!

… Я был слишком явно смел, взявшись за работу вместе с Ю.О. В этом есть какая-то неполноценность. Он (главным образом, его тексты) освобождали меня от врожденных, приобретенных и вдолбленных в меня подспудных тайных страхов. Это совсем не означает, что сам он от них свободен.

Корнилов — отцу Андрею из «Факультета»:

— Иуду вы простить можете?

Отец Андрей посмотрел и улыбнулся:

— А почему нет? Ведь кто такой Иуда? — Человек, страшно переоценивший свои силы. Взвалил ношу не по себе и рухнул под ней. Это вечный упрек всем нам — слабым и хлипким. Не хватай глыбину бóльшую, чем можешь унести, не геройствуй попусту. Три четверти предателей — это неудавшиеся мученики.

Придется признать: вся версия Иисуса Христа по Домбровскому куда глубже и убедительнее булгаковской.

Что же касается места русского, да и всякого интеллигента в жизни и обществе, то у Булгакова, в итоге, высокоодаренный индивидуум в конце концов понимает, что для него остается: лучшая женщина, любящая его больше всего на свете, и… домик в тихой Швейцарии. У Булгакова интеллигент смят, уничтожен, побежден и все равно (невзирая на ум и даже гениальность) хлипок. Если не «гнилая», то все равно «хлипкая интеллигенция».

У Домбровского — человек, обремененный интеллектом, единственный борец, способный все знания, всю силу духа противопоставить разгулявшейся политической и заплечной стихии. Он может быть уничтожен, но не может быть побежден. Вот что такое интеллигент по-Домбровскому.

У всемирного Исаича все эти ужасы убеждают меня в одном — ты ничтожен, сопротивление бесполезно, остается — выжить, дождаться момента, и мстить, мстить, за все измывательства, за всё изуверство и лютый произвол. Мстить ещё более люто. Или, по крайней мере, око за око, зуб за зуб.

У Домбровского бери выше — и для разгулявшейся и малоуправляемой власти пострашнее: герой не боится своих мучителей, борется с ними и даже кое-кого из них учит, просвещает, раскрывает им глаза, — а читателя заражает великолепным бесстрашием духа и поступка. Зыбин заразителен и замечательно опасен!.. В ответ на изуверские условия игры —

«предательство или бесславная смерть» — он выставляет свою шеренгу ценностей непреложных: нравственную, моральную, физическую, наконец — какую угодно! — выстоять, вскрыть нарыв тупой и бессмысленной лжи, показать её опасность не только для жертвы, но и для охранников, для палачей. Или… если все это невозможно, то умереть.

В условия игры смерть принимается, коли ее вменили («хрен с ней!»), но лучше выжить и за жизнь отдать всё. А там «посмотрим, чья взяла». Тут Домбровский уникален и выразителен до конца. Его герой и есть тот работник, который выковывает настоящие «кадры человечества», и в своем окружении — в стане хранителей, и в стане взбесившихся охранителей. Он постепенно крошит, дробит, раскалывает их железобетон и наглую веру в непогрешимость верховного правителя и, следовательно, в свою собственную непогрешимость. Рушит веру во вседозволенность «во имя! высокой цели», «во имя! счастья всего человечества», отечества и начальства.

«… кто свободу презирает, тому и отчизна ни к чему! Он и без нее может кровь лить, как воду! Чужую, конечно! Потому что у вас и крови-то настоящей не осталось. Так, может, что из носа или из задницы закапает…»

С 13 по 19.03 1975 г. Я первый (как утверждает мастер, сам я так не думаю) прочел все четыре части романа «ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ», «БЛАГОВЕЩЕНИЕ» и Приложение.

Закончил в 20 часов 45 минут… Аминь!

Мы это событие торжественно отмечали. И придумывали награды: «Золотое кольцо» в нос — «За политическое чутьё»; «Бриллиантовая серьга» в ухо — «За бдительность», с надписью на обороте — «П-с-с-т! Враг не дремлет!». И наконец — «От восхищенной руки редактора» — два браслета с жетоном и цепочкой похожие на наручники…

Я попросил поточнее вспомнить даты, а то у меня путаница получается. Он продиктовал:

1 — я посадка — 1932–36 гг. (3 года). Ссылка в Алма-Ату;

2-я посадка — 1939–43 гг. (3 года). Ссылка в Алма-Ату;

3-я посадка — 1949–56 гг. (7 лет). Алма-Ата — Москва.

Всё вместе — 22 года.

1950–1953 гг. — в лагере написал две повести. Первая: «НЕ ОСТАВИВШИЙ ЗАПИСОК» (или «Человек, не оставивший записок») — о следователе, через руки которого прошел целый ряд «великих мира сего», перед кем он когда-то благоговел, кому он поклонялся… И до каких бездн падения они скатывались на следствии, в какие ямы их заносило… Правда, иногда под физическими мерами воздействия — под пытками… Он надеется

когда-нибудь оставить обо всем этом подробные записки, мечтает о некоем писательстве.

В беседе с заместителем министра проговаривается и замминистра подначивает его, говорит о той неоценимой услуге, которую он может оказать будущим поколениям, если раскроет подлинное лицо врагов народа… Мол, пока всё это полежит в архивах — «Ведь какие у нас архивы! Это же всем архивам архивы!».

Почти уговорил, а на следующий день следователь умирает в своей квартире «от разрыва сердца».

Вторая повесть: «ПОДЧЕРКНУТО НОГТЕМ». Заключенному из тюремной библиотеки, замечательной библиотеки, составленной из лучших реквизированных библиотек, выдают книги. Самые разные. И он отчеркивает ногтем в текстах великих и малых писателей те места, которые имеют к нему непосредственное отношение и то, что он, наконец, постепенно постигает за время тюремных чтений… Так возникает полный объемный и глубокий портрет заключенного…

На Домбровского стукнули. С часу на час могли придти с «генеральным шмоном». Он тщательнейшим образом уничтожил обе рукописи в почти завершенном состоянии и таким образом избежал смерти. Отделался строгим наказанием — за недоказанностью доноса… И был счастлив.

К портрету ДОМБРОВСКОГО. Восемнадцать лет прошло с момента последнего освобождения, но в его привычках и натуре осталось больше от лагерника, чем восстановленного или приобретенного на воле.

Ест первое — когда забывается или задумывается, сразу берет, захватывает тарелку и подносит её к самому подбородку, при этом ложку держит в кулаке крепкой хваткой, так же как и тарелку, съедает все менее вкусное. То что любит оставляет напоследок… Ест впрок, если представляется возможность; пьёт всегда впрок и всегда жадно… И всё так, словно в последний раз, словно вот-вот могут отнять, пресечь.

К пьяницам, убогим и даже подонкам преисполнен сочувствия и сострадания (ну, это понятно), но порой беспощаден к самому близкому человеку, даже жесток бывает… Обидчив, вспыльчив, неуравновешен и при всей тяге к вселенской справедливости, нет-нет, а проявляет чудовищную несправедливость, капризность и требовательность… Но так же и по отношению к собственной персоне.

Одет чаще неопрятно. Пальто ему мешает и тяготит, как латы. Такое впечатление, что все время хочет его сбросить. Холода на улице не боится вовсе, и может разгуливать на морозе

и на ветру в легком костюме, без головного убора — и это никакое не пижонство, а просто чтоб не одеваться. Перчаток никогда не носит, даже в лютые морозы:

— Ненужная вещь. Я их сразу теряю.

В моменты озарений лицо становится величественным и даже несколько надменным. Он весь уходит в добывание сути высказываемого — факты, даты, фамилии, прозаические и поэтические цитаты, ссылки, парадоксальные и самые неожиданные умозаключения приходят как бы без усилий — суть и афористичность слагаются вроде бы сами собой или извлекаются в некоем свободном полете из пространства.

Домбровский о фильме Андрея Тарковского «ЗЕРКАЛО» (Знает, что тут вступает в конфликт с общепринятым мнением большинства):

— Это некая фибрилляция, когда каждая мышца бьется отдельно, не подчиняясь общим двигательным центрам… Для сложной (усложненной) формы должно быть сложное (ну ладно, усложненное, а не усредненное) содержание…

Про МУДРОСТЬ и ГЛУПОСТЬ сказал:

— Вы думаете, что если бы удалось создать правительство из мудрейших людей мира, это было бы мудрое правительство?.. Нет. Мудрость не складывается. Складывается человеческая глупость. О Художнике:

— Мораль и нравственность — единственное оружие современного художника. Они не перекрываются другими сферами человеческой деятельности.

— Настоящий писатель дышит чистым кислородом! Плохие писатели дышат как рыбы — связанным кислородом. Открытый кислород, кислород жизни им не доступен… А, в общем-то, и мы, и рыбы дышим кислородом.

Дом творчества кинематографистов — БОЛШЕВО — вроде бы март 1975 г. В этом коттеджике три комнаты: в одной мастер, в другой — я. Обещали больше никого не подселять… Немного позднее подселили — врач-нарколог, работает над докторской диссертацией по вопросам алкоголизма, связанным с автодорожным движением, «зав. спецлабораторией при Моссовете» — худенький, даже тщедушный, но вполне работоспособный еврей и, конечно, НЕ ПЬЕТ!.. Мастер пьет регулярно, я умею выпить, но не настаиваю на этом. За две три недели постоянного общения врач привязался к нам, вроде бы даже полюбил. Созерцая Ю.О. и профессионально изучая его, сам доктор и его диссертационная концепция нарколога изрядно перекосились, и он мне в этом тихо признался:

— Я же по работоспособности просто бездельник рядом с

вами! И притом, что Ю.О. так регулярно и так упорно употребляет. Какое-то наваждение… Ему?.. Шестьдесят семь?!.. Ничего не понимаю… Я наблюдаю разрушительную деятельность алкоголя на организм — десятки примеров — полное распадение сознания и воли. А этот — каждый день. И, как птица Феникс, возрождается. А как мыслит… Как говорит!

В потрясении стал советоваться по своим личным проблемам и дошел до исповеди… Молодой врач, прямо там из кресла какого-то ряда партера, влюбился в актрису столичного театра. Не простым, сложным путем, познакомился. Вскоре сделал ей предложение. Согласилась!! Родилась дочка. Но еще раньше обнаружилось, что мамуля алкоголичка.

Ю.О. комментирует:

— Ну, доборолся! Всё понял про это дело?.. Жизнь это тебе не график, не схемочка, она такое завернуть может, что никакой диссертацией не расхлебаешь, — и вместо даже видимости сочувствия радостно посмеивается. — Любой фанатик получает своё. И фанатик алкоголик, и фанатик борьбы с этим явлением. Это же надо — у осатанелого врача-нарколога жена алкоголичка! И не в пошлом романчике, а на самом деле… В жизни.

Они, конечно, разошлись, а врач мучается — дочку очень сильно любит, говорит — хорошая девочка.

— Доктор, — призывает через стену Ю. О. — Вот мы сейчас кое-что тут выпьем и побеседуем, а вы пронаблюдайте.

Оказывается, не притрагиваясь к спиртному, нарколог пьянеет ничуть не меньше пьющих, от одного глубокого сопереживания.

— Доктор, я боюсь за вас. Как бы вам не спиться с нами, — сокрушается мастер.

А захмелевший врач пребывает в изумлении:

— Н-н-но я же н-н-не притрагивался?..

И снова о будущем сценарии:

— Есть расточительность безумная, а есть бандитская. Мы живем в эпоху второй — бандитской расточительности… Чувство истории — это не только наука, не только чувство судьбы, но и чувство свободы.

Шесть раз мы переписывали сценарий вместе — вдвоем. Наконец он сказал:

— Извините, больше не могу. Это всё — уже изрядно разбавленный Домбровский.

На такое многотерпение я и не надеялся, — ответил я. — Думал, выдержите три, от силы четыре раза. На четвертом могучие отваливают. А вы шесть выдержали! Титан.

Он пообещал не бросать меня одного на полпути:

— Читать буду. Но писать больше не могу. А то возненавижу не только сценарий, но и вас, и себя, да и всю жизнь, пожалуй… У нас «набережная туманов» получается, а не «Алмаатинский день, полный ясности»… Дозволенный коэффициент оппозиционности должен быть. Неведомый, плавающий коэффициент — явление слагаемое, маложелательное, но совершенно необходимое. Носители коэффициента не более опасны и должны быть не более преследуемы, чем его нарушители в сторону занижения. Или, не дай Бог, уничтожения.

На обложке школьной тетради каракулями, даже иероглифами, Ю.О. написано:

Что ж? Может, в старости и мне настанет срок
Пять-шесть произнести как бы
случайных строк,
Чтоб их в полубреду потом твердил влюбленный,
Рассеянно шептал на смерть приговоренный
И чтобы музыкой они прошли
По странам и морям пылающей земли.

… Мы долго молчали.

— Помните, у Камю «искусство живет в неволе»? — продолжил он. — Экзистенциализм Запада — это когда человек делает всё, что хочет (не только у Камю, да и у Сартра)… И вот ни один из них не оказался предателем. Ни один из них не стал коллаборационистом — вот что такое свобода. Люди активные работают, борются. И если что-либо они утеряли, так это в самом себе… Тут жизнь их учит… Мы можем принять кое-какие поправки в русле нашей заявки; видимо, кино — это компромисс?.. Но работать в этой обстановке (обстановке этого объединения) мы не можем — она аморальна. Что один раз застрелить, что два!.. Что бросить с семнадцатого этажа, что с семьдесят первого!.. Они все хотят, чтобы мы все время поднимали человека. А мы его НЕ РОНЯЛИ! Им обязательно нужно уронить в грязь (наверное, собственный опыт), чтобы потом долго вытаскивать его оттуда. Большие специалисты! Они всю эту белиберду ДДДРРРАМА-ТИЗАЦЦЦИЕЙ называют… У нас он, Человек, и сам себя не уронит. Они этого никогда не поймут… Вот оно — начало экзистенциализма…

6.10. 1976 г. Все разговоры о том, что в ФРГ хотят печатать его ВСЕГО; якобы Ю.О. пригласили в ВААП по поводу печати «ФАКУЛЬТЕТА…». Всё шатко, зыбко, вроде бы погибельно, но валить не на кого — я сам влез в эту упряжь и мне тащить воз.

Недавно пришел приятель с женой (это был Лен Карпинский

с Люсей). Сидим, обедаем. Непривычное молчание, словно кто-то из близких в небытие канул… Он смотрел, смотрел на меня и говорит:

— Ты что и впрямь ничего не знаешь?

— А что? — говорю.

— Вот лопушина. Твой Домбровский передал рукопись романа Рою Медведеву… Я вижу, ты действительно ничего не знаешь…

Я цепенею. Если за границей опубликуют книгу, для партийной нашей цензуры заведомо крамольную, а фильм по Домбровскому еще не успеет выйти на экраны, его просто потихому зарежут. Как же так? Немыслимо, нет…

— Быть этого не может!

— Может. Десять дней кочевряжился и передал…

Приехал к Домбровскому. Тот клянется, что читать давал, а печатать не разрешал. Более того, предупредил, что если попробуют, то он в суд подаст!..

— Тогда зачем давали именно ему?.. Мы же с вами об этом…

Ю.О. кипятится, жену в свидетели призывает, и тут не все так, как произносится, но, якобы, «печатать не будут». Странная закрученность, — он плутует… Но я эту закрученность понимаю и даже сочувствую. Нелегкая задачка, прямо скажем — тяжелая. Роман-то написан, его бы построгать немного, особенно в конце… Финал… Убрать кое-какие фамилии, да и в тиск!.. «Нельзя же… Вот так помрешь, и нет романа», — лет на тридцать-сорок. У нас умеют и на больший срок.

Ю.О. месяц работал в Голицыне и показал три школьных тетрадки романа о Добролюбове — тетрадками размахивает, а читать не читает. Значит, пока не получается. Он ведь читать любит…

Сегодня 21 марта 1976 г. Среда. Премьера нашего фильма состоялась три дня назад, в кинотеатре «Патриот» на проспекте маршала Жукова — два подозрительных по качеству обозначения… Да и картина «Шествие золотых зверей» радости не дает — вся насквозь искалечена тройным рядом идиотских поправок. Но зато «Первая категория проката» и 2006 копий — рекорд. Как после забега на очень длинную дистанцию — победитель, а тошнит.

Осень 1976 г. Отрывочные воспоминания. По поводу ходячей фразы — «По разную сторону баррикад!» — Ю.О. замечает:

— Баррикады баррикадами, но с вашей стороны что-то много мягкой мебели натащено. А с нашей — «Руки назад!» — и, щелк! наручники…

О сценарной работе:

— Все разговоры в редакционном объединении — вкусовщина, не имеющая основания. Это — витающие духи, а с духами воевать нельзя. Здесь всё построено на так называемых неуправляемых эмоциях: «А мне нравится! Убей меня! Извините! Нравится!» — «А мне, извините, не нравится» — «А я три раза прочла, извините, и… ничего не поняла»… — Ведь никто не признается, вот так, запросто, что он 30 раз прочел таблицу умножения и не понял — ведь стыдно — скажут: кретин!.. А литературное произведение можно прочесть и заявить: «Не понял, извините» — и вроде бы виноват автор… Одни, как каторжники, работают, бьются, а другие — «Нра!» — «Не нра!» — и всё. Побежала в кассу, раскудахтались: «Духовность! Духовность!!» Да. Всё начинается с духовности — Гитлер тоже начинал с духовности. Муссолини начинал с духовности… Сначала идут мученики, а уж за ними топают палачи. Настоящая бездуховность начинается тогда, когда пошла армия. И то (в конце концов) побеждает моральный момент. Который «фактором» обзывают…

Что касается морали и нравственности, то в банде может существовать только бандитская нравственность и бандитская мораль.

**23.01. 1977 г. Воскресенье.**

Когда-то я подарил Ю.О. на день рождения работу Анатолия Зверева «Кошка Асеевой». Толя сказал: «Кошек не люблю. Но старуха просила — и написал. Увековечил…». Работа в широком золотистом багете. Ю.О. гордился, показывал гостям, сообщал, что мирового класса мастер, на каких выставках в Европе и Штатах он выставлялся — и всегда путал.

А тут я уломал самого Зверева, и мы покатили на Преображенку. Листы ватмана свернули в рулон, краски и соус он распихал по карманам… Зверь быстро расправился с мастером — три портрета в лист, где главное внимание было уделено шевелюре и очкам, но Ю.О., как мне показалось, не понравилось… Зверев на скорую руку сделал портрет Клары и потребовал, чтобы и я сел напротив — мой портрет был завершен в рекордно короткое время. Торопился не только художник, но и писатель — день был в самом разгаре, водка приготовлена и закуска тоже… Одному и другому было не до художеств… Запивая водку пивом, они чувствовали себя всё лучше и лучше и вскоре почувствовали бы себя совсем хорошо, если бы я не умудрился утащить Зверева (благо существовала строгая договоренность). Ю.О. отобрал два своих портрета из трех, портрет Клары, а две работы мы свернули в рулон и уволокли с собой (это был мой трофей).

Несмотря на то, что у Домбровских деньги были они не

предложили Звереву ни нормального, ни малого гонорара — словно выпивкой и закуской расплатились. Я тихо заверил художника, что дома с ним расплачусь за всё скопом. Это чтобы он не стал прямо здесь, в гостях, материться. И уволок его. Ю.О. и Зверев наспех договорились ещё раз встретиться в ближайшее время. Но я знал, что этого «в ближайшее время», не произойдёт. Ю.О. не вспоминал и не спрашивал о Звереве, а Зверев довольно часто вспоминал о Домбровском и, хитро хихикая, повторял: «Ничего твой старик, надо бы его как-нибудь ещё раз увековечить. Поехали, а?.. Нормальный старик. Детуля, ты ему скажи: «Надо увековечить», — **а** то он плох. Мне не нравится. Ты ему скажи. Пусть **пото**ропится. И деньжат подкопит…»

Вот так странно мы отметили тогда окончание работы над сценарием, ни словом не обмолвившись об этом предмете.

6.11. 1977 г. Алма-Ата. Весь вечер сидел у Варшавских — это приятели Домбровских, а дочь — Людмила Енисеева — подруга Клары. Мамаша Людмилы, Любовь Александровна — весьма колоритная дама. Потом пришла Тамара Мадзигон, закадычная подруга Клары, с трудом оторвавшаяся от своих детей. И Валя — маленькая, аккуратненькая — дирижер-хормейстер. Говорили, о чем придется, но все речения сливались в один поток — Юрий Домбровский.

Самое интересное, что Л.А. рассказала не без удовольствия, как бы невзначай, о кампании «борьбы с космополитизмом в Алма-Ате». Год, пожалуй, 1949-й. Бороться начали сразу и решительно: составили большие списки для арестов и последующих проработок (опыт-то громадный, память великолепная!). Первым взяли, конечно, Домбровского. В городе поднялся такой шум и переполох — не ожидали!.. Позабыли, что позади произошла такая война… Больше никого не взяли. Одного Ю.О…. Вся алмаатинская интеллигенция, всё общество разделилось на два лагеря: «за Домбра» и «Против»!

Сукам и стукачам не подавали руки, устраивали обструкции, держали Знамя элементарной порядочности, впервые консолидировались, кого-то бойкотировали — черте что!.. А вот когда Ю.О. вернулся, уже, кажется, в году 1954-м, он направился сразу и напрямик в отделение Союза писателей, к своему врагу номер один. Тот заложил его, и об этом знали все. Напряженно ждали развязки и обязательный большой мордобой с последствиями… Ю.О. выманил так называемого стукача на улицу. Шли молча. Дошли до угла… Говорят, виноватый внезапно остановился и уж неизвестно, в каком контексте сказал амнистированному:

— Ты притащился сюда бить мне морду. Весь город знает об

этом. Краснобай и показушник! А я скажу тебе: «Бей сколько хочешь. Плевал я на тебя и твои высокие принципы!.. Эгоист проклятый. Ты всегда был один — тебе некого было защищать. Ты никого по-настоящему не любил. У тебя никогда не было ни жены, ни детей. Ты ничего не понимаешь в том, что может человек сотворить ради спасения своих близких. И ты мне не судья! Можешь сколько хочешь бить эту морду!.. Мне наплевать…

Мордобой не состоялся. Домбровский постоял-постоял, глаза на него потаращил-потаращил, и сказал:

— Пойдем… Посидим где-нибудь. Примем успокоительного… Деньги у меня есть. Как ни странно…

А через полчаса или немногим более того они уже сидели в шашлычной и пили по-настоящему. И разговаривали, и объяснялись — рассуждали, распахивались как могли… У всех на виду… Тем временем, самые верные и самые стойкие друзья и заступники Ю.О. собрались в группки, сообщества, накрыли столы и… ждали героя. Ждали, когда он благодарный и растроганный придет и обнимет их, радетелей справедливости и защитников угнетенных. Но тому был недосуг — он научился ценить время — он без продыха сидел в пивных и шашлычных, пил со своими стукачами, свидетелями обвинения, бывшими следователями и практикантами. Как говорят, почему-то не протягивал руки тем, кто все эти годы, якобы, отстаивал его сторону и честь… Мало того — скверненькая актрисуля, с которой у него были когда-то, до последней посадки, «отношения», и которая без колебаний заложила его со всеми потрохами (а порассказать о нем всегда было что)… и которую усилиями радетелей справедливости выперли из театра, — она к этому времени окончательно потеряла в городе все дивиденды, ее никуда не впускали — даже на порог… Вот тут она кинулась к Домбровскому и, вот представьте себе, он через друзей, и в частности, через вернувшегося из заключения режиссера Варпаховского, устроил эту неприкаянную во МХАТе. Во как.

Позднее я рассказал эту алма-атинскую версию самому Домбровскому и спросил:

— Правда ли всё это?

Он улыбнулся, махнул рукой и сказал:

— Уж не помню подробностей, но в основном, вроде, так и было… А как прикажете мне о всех этих… писать потом, если сведения черпал из уст следователей, из протоколов допросов — это же всё туфта, выдумки бездарей. А мне подавай, если уж не самое достоверное, то хоть не бездарное… Как я буду потом свой роман писать — про этих непорочных ангелов?.. Да без этих сволочей они все вовсе и не ангелы.

2.04. 1978 г. Кинокартина катится к завершению. Появилось немного свободного времени. Надо снова учиться читать. Перечитал «Смуглую леди»…

Вечером того же дня у Домбровского на Преображенке.

— … Нездоров, упадок сил… не было такого никогда!.. Аппетита нет вовсе… Иду в гости! Ура?.. Добрался, и уже устал… Еда, выпивка… А ничего не хочется — раньше никогда такого не было… Может, это от весны?.. (Без особой уверенности) Может, это пройдет?..

Уж коль вопрос задан, придется произнести наставительную тираду. Я не верю, что подействует, но пробую…

— Да нет! Мой организм уже привык к определенному — режиму и не надо его нарушать. Он определенно вырабатывает антитела и с ними надо как-то управляться — если по науке…

— Знаю я эту науку, — духовой оркестр играет: «Трррам-там-та-там…»

— Пожалуй… Знаете что?! Помогите мне купить приемник. Очень надо. А я не знаю какой, где, за сколько?.. Давайте в четверг? «ТО САМОЕ» радио надо слушать… Надо.

Еще бы: история с двумя Медведевыми — один в Лондоне, другой в Москве, один — Жорес, другой — Рой, и оба хотят заполучить его роман… таинственный удар в полупустом автобусе (!) железным прутом (!!)… Говорит, когда входил слева стояла небольшая компания молодых людей, он их не цеплял, они его не цепляли…

Удар был сзади он потерял сознание, упал.

— А почему вы решили, что железным прутом?

— Когда поднимали, он был где-то рядом…

— Вы были…?

— Да, но не очень… Домой ехал от метро.

Рука перебита выше кисти (левая), предплечье переломано тоже слева (пожалуй, ключица…). Гипс — рука и через всю грудь, — минимум на три месяца… Клара говорит, что пришел сам, а тут его друг лагерный сидит, ждет. Он ему еще свой диван уступил, а сам решил лечь на полу. Лег и только вот тут сказал, что больше не может — боль страшенная. Скорую… Ну и началось… О причинах и подробностях он говорить не хочет, уходит от этого разговора, прячется глухо.

… Только-только еле оклемался, да еще и не оклемался нисколько — гипс с груди сняли, а на левой руке неправильное сращивание, нагноение, плохое заживление, какие-то партачи и не те заклепки вставили, и не так…

— Работает и ладно, могли и совсем перешибить…

Начал выходить на улицу, но только для кратковременных

прогулок, больше сил не хватает. С фильмом откладывали-откладывали, наконец сговорились. Привезли его вместе с Кларой. Он смотрел, как ребенок — то неожиданно хихикал, то фыркал, то одобрительно заметил, что забулдыга Усик пьет квалифицированно… Несколько дам из редактуры его просто не узнали, кое-кто принял его за старуху — такого никогда не было. Он всегда был похож, пусть на тиражированного, но «Гусара!», и уж если на то пошло — на забулдыгу, но не на старую тетку.

… И вот тут, в самый неподходящий момент (а на такое подходящих и не бывает), это непонятное, какоето сверхкосмическое падение из какого-то «общественного транспорта» — выбита и повреждена правая ключица (впоследствии оказался перелом) и черное пятно на всю правую часть груди… Я такого гигантского и аккуратного кровоподтека не видел никогда — вся грудь до пояса, и ровные края — великий геометр был этот случай… Чтоб им всем «таким великим геометрам» передохнуть! Конца этому фантасмагорическому действу нет: События — Люди — Запредельные сюжеты — мне стало казаться, что то ли привидение его убивает, то ли он сам себя приканчивает, то ли… на него идет настоящая обложная охота. Когда я захотел с ним поговорить на эту тему, он ощетинился и сказал:

— Вот, например… Была какая-нибудь причина, когда в канун сорокалетия советской власти вас ножом пырнули на улице?.. Была?!.. В переулке Садовских? Бывший Мамоновский!

— В прямую не было.

— Ну вот, и у меня «в прямую» не было, — и в интонации прозвучала непреклонность, даже приказ, не соваться в детали этого происшествия.

Я больше и не совался. А зря.

В завершение (даже поверить нельзя) — том, книга, фолиант в пятьсот страниц. Большого формата — «ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ», продолжение моей любимой книги — «Хранитель древностей»… Вроде, быть этого не может, а вот она — есть. Он протянул книгу и сказал:

— Извините, но так уж получилось. Не сдержал обещания, нарушил договоренность, но не виноват… Они без согласия…

А глаза светились таким счастьем, что и не передать.

Не «ХУДЛИТ», не «СовПис», а известная «ИМКА-ПРЕСС», ПАРИЖ, цена 75 франков.

— Вы извините, я сейчас не могу. Но как только пришлют, я сразу вам презентую, как самому первому читателю «Факультета» — так и напишу…

Книга — это хорошо… Это замечательно… А вот фильму

теперь снесут башку и мне заодно. Пропало наше «Шествие золотых зверей». И три с половиной года — Тю-тю… Пропали… Ну, да ладно, к потерям и катастрофам в нашем безмятежьи надо приучать себя постоянно, я бы сказал — ежедневно… Ю.О. после первого всплеска уже не столько рад, сколько боится и перебирает, перебирает в голове всевозможные варианты вызовов, разговоров, объяснений и репрессий… А вот мне кажется, что ничего этого не будет. И такое для него окажется самым страшным — вот книга есть, а никакого шума нет и не будет — «НИ СТУКА, НИ ГРЮКА» — и вот этого-то он и не выдержит. Слишком много сил, надежд отдал он своему роману — одиннадцать лет! Даже «с половиной».

Мастер сокрушенно качает лохматой головой, и голова уже совсем клонится к коленям:

— Нет-нет, это было бы для них слишком умно и расчетливо. Там главное — лично никого не затронуть — лично! Вот если лично! Вот тогда они начинают действовать, а когда они действуют, то и насмерть зашибить могут… А вот больше работать не могу. Пробую, а не могу. Или сплю, или читаю… Читаю, правда, много… Это возрастной рубеж — его или перейдешь, или нет… А что, они меня тогда на просмотре правда не узнали?.. Совсем-совсем?.. Ну, это я одет был… Пришлось дурацкую кофту… С застежками. А что делать? — рука не поднимается. Не лезет в рукав… А вы что скажете?

— Или вы одумаетесь, или дадите дуба.

— Это вы как определили? — совершенно серьезно и заинтересованно спросил он.

— По разумению. А Зверев говорит, уже как великий интуит…

— Ну-ну… Поточнее.

— Печать определенную на лице видит и просит вам передать.

— Так ведь он и сам…

— Он не в счет. Просит передать: «Сделать передышку. А то загнетесь», вот так и сказал.

Качает головой. Серьезен. Совсем не шутит… Потом проговорил:

— Конь леченый, вор прощёный, жид крещёный — всё одно добро…

27.05. 1978 г. Суббота. Позвонила Клара и в некоторой растерянности сообщила, что у мастера опять поднялась температура, 38,2, а для него это очень высокая. И кровь была и рвота… Меня как стукнуло — сразу! «Его же били по печени. Вот откуда такой большущий кровоподтек».

— Немедленно неотложку — это желтуха. И не тянуть — сразу!

Всё сделали «Сразу». Но литфондовские врачи… А почему медицина должна быть лучше, чем все остальное?..

29.05. 1978 г. За несколько минут до полудня… Как там было в воскресенье, уж и не помню и не знаю… Всё записал потом и крайне бестолково… Но попробую… Нет, не воскресенье, а понедельник…

В понедельник 29 мая около 12 дня звонок. Клара:

— Только что умер Юра.

— Что?!

— Юра умер только что… — и начала, начала быстро рассказывать, рассказывать, — упала температура до 35,2, я вызвала неотложку, говорят, врача нет, как только появится, пошлем… Ему всё хуже… Говорят: невропатолог к вам поехал, а тот потом придет… Юра встал, хотел пойти в туалет, потом как крикнет: «Клара!» — я туда, а он упал, через весь коридор, головой к комнате… Я его… — вдруг что-то поняла или что-то оборвалось — положила трубку.

Выбежал, взял первую попавшуюся машину и через полчаса был на Просторной. Тут… непоправимое… Ощущение бездны…

Дверь не заперта. Юрий Осипович лежит наискосок — перегораживает прихожую… Босыми ногами к входной двери, головой к Клариной комнате. Тут уже доктор (тот самый невропатолог) из литфонда и молодой человек из угрозыска навстречу. Я сказал — «Здра…» — он сказал — «До свида…» — и улыбнулся, ему показался комичным этот раскосец. Он вышел, прикрыв за собой дверь… Домбровский так и лежал наискосок, перегораживая прихожую, и все вынуждены были перешагивать через него, туда и обратно… На тахту не переносили — «потом вытаскивать будет трудно…» да и не втащить — застыл, не развернуть без того, чтобы не поставить на ноги. А как это делается?.. Лицо у него вздернутое, рот поджат, нос атакующий… Голова уже на подушке. Как всегда в задранной майке и спортивных шароварах, босиком… Я взял плед в спальне и закрыл его с ногами и головой… Рыжий Котошихин словно сходит с ума — то мечется, то прячется…

Клара все время пытается рассказать, как все это произошло, как будто что-то можно отмотать обратно исправить, переделать… Из обрывков произносимого можно сложить: «Утром смерили — температура 35,1. «Ты плохо держишь градусник!..» Смерили снова — 35,1.. Куда годится? Звоню в неотложку — говорят: «не паникуйте, эти перепады бывают. Врач сегодня у вас будет…». А Юра — то здесь лежит, то в ту комнату хочет —

перебирается. Я ему говорю: «Что ты всё время туда-сюда? Не экономишь силы…». Он пошел… И вдруг как крикнет!!! Я кинулась… Он головой туда — ногами сюда. Я говорю: «Ты помоги мне, хоть встань на ноги…». Куда там. Я его тащу — вижу… сразу стала массировать сердце — кинулась к соседке — звоню в неотложку — нет, в скорую, а соседка массирует сердце, а старуха, другая соседка, говорит: «Что вы массируете, вы глядите, он уже холодный. Коченеет»…

Он так и лежал, загромоздив всю переднюю. Любимая кошка Кася спряталась, сиамский метался и затихал, метался и затихал, а самый шалавый и бессмысленный Каташихин-Мартын прошелся по всему телу и вмертвую распластался возле самого лица, — уткнулся в то место правой ключицы, которая была переломана… и лапу вытянул… к его уху…

Санитары из морга сразу обнаружили, каких справок не хватает, чтобы не брать его в морг, а получив свои двадцать пять, сами подсказали, что надо сделать. Потом замотали, завязали, решительно и бесцеремонно сложили, как раскладушку, подняли (у них особая сноровка на малую габаритность квартир). Вынесли на лестничную клетку и умудрились разместить в тесном лифте… Пропасть и обычная работа — рядом. Соседствуют… Со смертью Человека я никогда еще не ощущал такой невозместимое. Такого провала в мироздании…

Куда может деться все то, что не написано, не высказано, не сделано, не завершено. До этого часа я еще не представлял себе всей бесконечности и необъяснимости мира, где Свет только частный случай, а мрак и холод всеобъемлющи…

Он так просил достать ему Ходасевича, я достал, а он небрежно пролистал и сказал:

— Не то…

То, что он просил, я добыл позднее, и там было написано:

«… Грубость и низость могут быть сюжетами поэзии, но не её внутренними двигателями, не её истинным содержанием. Поэт может изображать пошлость, грубость, глупость, но не может становиться их глашатаем…»

ДОМБРОВСКИЙ как-то сказал:

«Обратите внимание, начиная от Первой мировой войны, с семнадцатого года, ну, там с 20–21-го, все настоящие войны были уже не империалистические, а социалистические. И все последующие будут такими. Фашисты — они тоже социалистами себя величают — да так оно и есть».

Когда становится совсем плохо… и невмоготу… ЗА ПИСАТЕЛЯ БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ ЮРИЯ…

Господи! Властитель, создавший небо и землю, Миры и

Вселяющие Вселенные… А также Запредельные Пространства.

Великий Единый, Бесконечный и Живой, прими его таким, какой он есть — он замечательный. Твой и Тобою придуманный и созданный. В нем столько намешано (видно Ты не скупился и пребывал в отличном расположении Духа). Но ему очень трудно было с Твоей щедростью управиться: не в меру талантливый, великолепный и грешный, такой верный Тебе, и такой… всегда непредсказуемый. Неимоверно богатый и постоянно такой безденежный… (тут он должен подходить Тебе сполна, Взыскующий).

Боже — Ягве — Элохим! Прости его, если есть такая возможность, и взыщи (накажи), только если другого выхода нет…

Но почему с него все семь шкур надо?.. Почему?! Сдери лишнюю с кого-нибудь другого — ведь шкура на шкуре…

И меня прости, Господи! Если возможно. За это обращение. Ты ведь и без меня всё знаешь… Аминь.

2.06. 1978 г. МОРГ при 33-й Остроумовской городской больнице у метро Сокольники.

1). Врачебное свидетельство о смерти — с этим документом в морг к 9–00 утра — паспорт.

2). Если справка: причина смерти не ясна, то с двумя паспортами к 13–00.

… А причина и ясна, и не ясна… Не ясна, потому что, как только зашевелились дела с романом «Факультет ненужных вещей» за границей, а он и не старался скрыть этой возни, так сразу началось: темные личности, склоки, избиение, переломы, таинственные угрозы ночами по телефону, и… игры в молчанку — повторные переломы — кровоизлияние на всю правую часть груди…

Из морга в 13–00 ровно повезут на Кузьминское кладбище — Рязанский проспект. Там и хоронили…

Первое слово сказал Феликс Светов… Неожиданно, совсем близко к гробу подошел седой человек и, обращаясь прямо к лежащему в гробу, тихо, с жёстким укором сказал: «Юра, тебе не нужно было так поступать. Ты не имел права умереть раньше нас… — Это был Чабуа Амираджиби. — Мы все, твои друзья-колымчане, надеялись: когда придет мой час, сам Юрий Домбровский произнесет у моего гроба самое нужное слово. Сознание этого делало остаток жизни осмысленным. Какая несправедливость — я, косноязычный грузин, прилетел сюда (сейчас улетаю) и должен сказать тебе здесь то, что лучше других умел сказать ты… Юра…»

Москва, 8 декабря 1996 г.

# Острова
# Каспийские рассказы

Мы, это совсем молодой драматург и я, автор рассказов, прожили дикарями на острове Чечень, прилегающих островах и на Черных берегах Северо-Западного Каспия более месяца… А потом я еще наезжал в родные и не безразличные мне места… В результате сначала появился наш совместный сценарий, а там и фильм «УЛИЦА НЬЮТОНА, ДОМ 1». Последовал скандал на партийно-правительственном уровне: газетная перепалка, постановление ЦК и заседание «идеологической комиссии» во главе со всеми забытым монстром… Нас пожурили, осудили, но чудом не засудили. Нашелся влиятельный защитник, он, как мог, отстаивал нас. А репрессии финансовые и иные не замедлили свалиться на наши головы. Но это уже другая история. Я остался без работы на довольно длительный период, что и позволило мне написать рассказы и сегодня озаглавить их «Острова».

Называется наш остров — Чечень. Не удивляйтесь: чеченцев здесь в обозримом пространстве-времени не было и нет. Испокон веку живут сплошь русские. По преданию, из беглых. Вроде, селились здесь со времен Степана Разина. Может, и раньше — да на большее памяти не хватило.

Говор здесь на редкость чистый, правильный, ну и морских, рыбацких, сугубо каспийских словечек, оборотов по самую завязку. Про всякое соленое, матерное и говорить не будем — недопустимо солоно и чрезмерно матерно… Живут прилежно. Отдельно. Родами-фамилиями: Солнцевы, Бутылкины, Фунтовы, Мочаловы, Ксенофонтовы… В море рыбу берут чинно, не обращая внимания на частые запреты, само собой не без нарушений, но и не лютуют, как материковые, хоть и браконьерствуют — на вдов, на сирот, на общий котел, на уху… А пьют много. На плаву ни капли, а на суше — до упору. Много. Чересчур!.. Потому как — рыбаки. По другому не умеют…. Не обучены. Жены-вдовы этого себе не позволяют: «Лиригия!.. — говорят. — И делов невпроворот… Ну, разве что в праздник»… А вот этих праздников здесь — до безобразия: все советские плюс все антисоветские-дореволюционные, включая церковные, плюс какие-то совсем непонятные — скажем, языческие, даже первобытные.

# Солнцевский расчет

Везде на морях и водных бассейнах новые методы ловли рыбы: то на свет, то на шум и все такое прочее. Наш остров стоит на Северо-Западном Каспии. Он не хуже других, и выдумщиков у нас хватает. Влетела кому-то в голову идея — взять да и обособить самых опытнейших стариков-рыбаков в отдельную бригаду. Выделили. Старшим над ними поставили Солнцева Ивана Тимофеевича — личность вполне известная. Бригада стала работать ставными неводами в районе Петровского камня. Рыба шла вдоль берегов. Бодро шла. Сеть брали центнерами. В прилове, как водится, оказалось пять рыб: два осетра и три севрюги — не выпускать же обратно (хоть по закону положено выпускать). Все пять были справные, гладкие, мерные, но не вполне равноценные. Их судьба должна была быть решена обычным для этих мест способом — «на котел». Делить должен был старшина.

Старик Солнцев, всегда сдержанный, рассудительный, примечал, как тихо гуляют мутные страсти в душах его бывалых соратников. Но поначалу никто себя особо не проявлял. Больше других стал разгуливаться старик Петрович.

«Нет таких лиц. Перевелись!» — можно было бы сказать, если бы я сам их не видел на Каспии. Потускневшая бронза, изрезанная, измятая, искореженная.

Седина в торчащем ежике и еще больше седины в густой щетине лица.

Мясистый нос. Распухшие веки, грубая кора негнущихся пальцев и подушки раскрытых ладоней.

— Сиротина ты моя, неприкаянная, — выражал он свое сочувствие крупному осетру. — И никто-то на тебя не взглянет, никто не приголубит.

Петрович потешал окружающих спокойно, сам даже не улыбался и нет-нет, а разглядывал свои руки, словно вел разговор только с ними. Эта показуха продолжались недолго. Петрович между делом зацепил горемычного осетра и оттащил его в сторонку. Край своего мешка он стыдливо накинул на буйну осетрову голову и смирился.

Солнцев долго сопел, не прерывая разбор сетей и, наконец, строго заметил:

— Работу кончим — делить будем.

Но Петрович будто не слышал старшины. А через некоторое время кряжистый бородач старик Фунтов не выдержал и без всяких там прибауток уволок к своему мешку самую ладную

севрюгу. Фунтов не церемонился — севрюга сильно отличалась от своих подруг и размером, и весом.

Солнцев распрямил спину, вытянул шею, и нос его заострился. Все побросали привычное дело и насторожились.

— Ташшите оба, где лежало. Работу кончим, делить будем, — как мог спокойнее проговорил старшина.

Петрович, как взял легко, так и положил обратно, а с севрюгой дело вышло посложнее. Ее новый хозяин наотрез отказался расстаться с рыбиной — видать, сроднился.

А чтобы закрепить это внезапное родство, начал материться, да так круто и неуемно, что действо требовало продолжения и незамедлительного.

Солнцев подошел ближе к владельцу и проговорил:

— В последний раз прошу. Положь!

Фунтов наращивал ругательства, таращил глаза и дал понять окружающим, что скорее расстанется со всей своей родней, чем севрюгой.

Работа застопорилась. Все ждали, чем кончится поединок. Никто потом не мог толком сказать, кто кому что говорил и говорил ли, но старик Фунтов схватил смачную затрещину. Хорохорясь, все еще не понимая, что происходит, бородач полез на Солнцева, и тот ему уже врезал не шутя, хотя и первой затрещиной шутить не собирался. Драки как таковой не было, но произошло что-то невиданное. Отродясь старики не дрались на острове, и никто наперед не мог сказать, что из всего этого может получиться. Остров гудел, как улей под дымом. Суждений было больше, чем людей в поселке. Точно знали только то, что Фунтов схватил две оплеухи, сидит в правлении, составлен акт и назначена комиссия. Дело принимало серьезный оборот.

Рассудительный Солнцев понял, что взял через край, позвал к себе стариков Бутылкина и Петровича, созвал многочисленных родственников постарше и сообщил им, что хотел бы повиниться перед Фунтовым и кончить дело миром. Сватами-делегатами попросил быть не безвинного шутника и краснобая Петровича и самого справедливого на острове рыбака и бывшего гренадера деда Бутылкина.

Вслед за ними к дому обиженного в черном выходном пиджаке направился сам Солнцев. Все жители улицы повылезли из домов и образовали торжественную, хоть и редкую шеренгу.

А комиссия тем временем сидела в правлении и ждала.

Так трое и пришли в дом Фунтова. В раме — метровая Сикстинская мадонна, по краям виды Иерусалима, а в центре открытка: «ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ ОКТЯБРЯ!»

— Рыба ищет, где глубже, а человек — где рыба, — проговорил дед Фунтов, чтобы только что-нибудь проговорить.

— Это правильно, — поспешно согласился с ним Петрович.

А Солнцев Иван Тимофеевич твердо заявил:

— Рыба — она глупая. Если бы понимала, не брала бы клеенку. Осетр, например…

— Не скажи, Иван Тимофеевич, — поддержал разговор справедливый старик Бутылкин. — Кефаль, к примеру, умная рыба. Она прыгает через сети. У нее даже разрывы сердца получаются. Истинный Бог! Сам видел. Может, от особой живости, может, от переживания. Не скажи — умная рыба. Вот третьего году один кефаль выпрыгнул из воды и прямо в скулу мне. А тьма — ни зги, кругом вода. Так я не удержался, за борт упал. Спасибо Кузину Виктору — вытащил.

— Так кефаль — разведенная. Она из Черноморья завезена. Не коренная, не каспийская, — легко объяснил это странное явление Фунтов.

— Это тоже правильно, — снова согласился с ним Петрович.

Разговор явно шел по фальшивому курсу, и Солнцев прямо заявил, что просит у старика Фунтова прощения: «севрюга севрюгой, а драться, мол, да еще в такие годы, не след». Винился, как умел. А хозяин упорствовал и сказал, что извинить не может. Упорствовал не столько сам Фунтов, сколько его старуха. Она яро отстаивала непрощение и говорила об этом вслух, обращаясь не к гостям, не к мужу, а к своей печке.

Сваты сходили за вином, принесли четверть, два с половиной литра. Старуха накрыла на стол. Стаканы наполнили, но заядлая хозяйка старику пить не советовала, и тот ее слушал до тех пор, пока четверть не опустела.

Пошли за второй…

А комиссия тем временем сидела в правлении и ждала.

— Зря старуху в разговор пускаешь, — осторожно намекнул старик Солнцев.

— Кость такая у нее, куй-куй — не перекуешь, — уклончиво ответил Фунтов.

— Да. Кость имеет значение, как у петуха. Что с ним не делай, а в три часа ночи закричит.

Принесли вторую четверть, два с половиной литра.

Фунтов уже пил со всеми вровень, обмяк, но все еще не извинял. Захмелели изрядно, два раза были на краю мировой, но в последний момент старая встревала, подзуживала, лила масло в огонь и портила дело.

Сваты принесли третью четверть (два с половиной литра). А сами отвалили от стола и пошли по домам, по крайней мере, им

казалось, что они шли. Солнцев и Фунтов еще долго шумели, вспоминали все обиды последних пятидесяти лет, и третья четверть шла к концу. Начали вырисовываться контуры условий мира. Фунтов требовал СТО ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ НОВЫМИ, тогда неурядица будет улажена. По всему было видно, что цифирь обиженному подсказала старуха. Названная сумма не на шутку удивила старика Солнцева. Иван Тимофеевич уперся взглядом в хозяина и никак не мог проморгаться.

Вышли. Отливали, задрав головы. Тьма была густая и знакомая. Звезды тыщами висели в небесах, другие — со здоровый кулак — были ярче остальных и дразнились.

— Это… чего это? — сказал Фунтов. — Так и есть, или мерещится?

— А чего? — спросил Солнцев.

— Звезды, как звезды, а ета летать… — Фунтов показал вверх. Одна из звезд, яркая и холодная, торжественно пересекала небосвод прямо с Запада на Восток, и трудно было разобрать, что это такое, а когда не понимаешь, всегда жутковато, особенно в ночи.

— Э-э-то самолет, — брякнул Солнцев.

— Хрен-та, а где звук?

— Не долетел ещё.

— И не долетит. Тишь-то какая…

— Может, комета или метеор?

— Два хрена. Ты гляди — прямо режет небеса! И хвоста никакого.

Оба были в недоумении и стояли, задрав головы — два свидетеля удивительного явления. А летучая звезда пересекала небо над Каспием. У Солнцева из семи сыновей-дочерей четверо с высшим образованием, и это накладывает… Солнцев не мог допустить перед Фунтовым. Ему всегда задавали самые трудные вопросы, и он никогда лицом в грязь не плюхался… Недаром его тут называли Академиком Моря. Да он и был таким… Солнцев вглядывался, вглядывался, наконец произнес:

— Тьфу-ты нуты! Твою-Мою-Вашу! Чашки гнуты!.. Это же спутник!

— Какой ещё?

— Газету читать надо. Запузырили на орбиту. Вот пролетает над Северо-Западным Каспием. В районе нашего острова. А какой, скажи, у спутника может быть звук?..

Движущаяся звезда подбиралась к зениту.

Комиссия тем временем сидела в правлении и ждала.

— Они там летают, а я тебе тут… — наконец мечтательно проговорил старик Солнцев. — Нет! Не могу себе позволить

уплатить СТО ПЯТЬДЕСЯТ новыми… Что ж это выходит, семьдесят пять рублей одна оплеуха?!

— Почему семьдесят пять?.. — возражал Фунтов.

— Не хитри. Плати сто пятьдесят новыми, и баста. Нет? Отвечай по всей строгости советского закона!

Тогда Солнцев предложил засчитать сегодняшний расход в три четверти вина и устроить завтра же еще один замёт по четверти на брата! Денег он уже не жалел — выходило больше, чем сто пятьдесят:

— Но не могу же я за оплеухи платить деньгами!.. У тебя — у меня правнуки…

Футов крайне распалился и уже на всю округу фальцетом кричал:

— Вольно ж тебе было озорничать?! Сто пятьдесят!.. Рубля не уступлю! Нет? Тюрьма тебе на старости позорных лет. Тю-ю-юрьма-а-а!.. — еще много всякого кричал старик Фунтов.

И так он разорался, что Солнцев подумал-подумал и дал ему еще два леща. Одного с правой, второго с левой. Да посильнее, чем тогда на баркасе.

— Ужо приходи завтра пораньше: за все четыре раза и заплачу. По семьдесят пять оплеуха. Итого триста, — только и проговорил он.

Нетрезвый, но уже по-обычному спокойный, пришел Солнцев в правление. Комиссия ждала решения стариковского спора и, несмотря на поздний час, не расходилась.

Солнцев сначала сел на свободный стул, снял картуз и не спеша еще раз рассказал всю историю по порядку, излишне не обвиняя Фунтова и не выгораживая себя. Подробно рассказал про три четверти вина, про спор под звездами и когда сообщил про «лещей» (одного с правой, другого с левой), комиссия полным составом хохотала на разлом. Только что с лавок не валились. А фанерные спинки из двух стульев вышибло к чертовой матери!

Хохотали долго, вспоминая всё новые и новые подробности рассказа деда Солнцева, да еще добавляли от себя такое, что уже помирали со смеху пуще прежнего. Председатель комиссии махнул рукой, снял слезу с глаза и у всех на виду порвал акт.

Рано утром следующего дня дед Солнцев пришел к Фунтову вместе с Петровичем и Бутылкиным, поздоровался, положил на стол триста рубликов, попрощался и ушел. А дед Фунтов деньги сосчитал, отдал старухе и с той поры по сей день, говоря о законах, кипятится и кричит:

— Где она, правда? Где?.. У ней граница под Астраханью проходит. Власть, и та законов не соблюдает! Это какое же обчество мы строим? Объясни!

# Верховый ветер

Странный остров. Разбросанные строения и песок. С тыла этот развал подпирает большой Дом Культуры, и над всем островом господствует маяк-мигалка, словно одинокая нефтяная вышка. В порту два-три десятка рыбацких фелюг, рядом ПТСы из Махачкалы, катера, рыбницы, старые баржи и буксировщики.

Задувает верховый ветер. Рыбаки перебирают сети, выпутывают селедку и вытряхивают за борт морскую траву. Девки грузят тару и поют без устали, перекрикивая громкоговоритель. Есть на плоту и пьяные, но никто на них не обращает внимания. Рядом начальство сидит на досках и решает свои хозяйственные дела.

— Вчера одна фелюга перепилась, сегодня вытрезвела… Теперь другая…

Дует ветер, поднимает песок и ракушечник, качает фелюги, готовые взять на себя всё: и удар волн, и ветер, и рыбацкие попреки. Качаются фелюги. Одна скрипнет, другая гулко стукнет о соседку, соседка — с отчаяньем о причал.

Белье полощется на веревках, не провисая, вытягивается в горизонталь. Как паруса раздуты пододеяльники и, как флаги невиданных государств, старые рубахи мужчин и нижнее женское белье. Веревки натянуты до предела, того и гляди оборвутся. Петухи ходят по острову, как пьяные рыбаки. Ветер крутит петухами, и они припадают то на одну, то на другую ногу, с трудом цепляясь за песок, и еле удерживают равновесие.

В доме для приезжих меня встретили неприветливо. Одна комната большая, одна маленькая, щитовой домишко с сенями был набит до отказа. Никому не хотелось получить еще одного постояльца. Все эти уполномоченные, инженеры по эксплуатации, ревизоры, снабженцы и даже один следователь бурчали что-то себе под нос и старались не встретиться со мной взглядом, памятуя о том, что встреча может быть одной из самых опасных встреч для тех, кто хочет тебе отказать в самом необходимом. И только один из всей компании, коренастый мужчина лет под шестьдесят, подстриженный ежиком, с серыми, искрящимися не то смехом, не то слезой, глазами, заулыбался и встретил меня радушно. Он заговорил со мной, и не надо было быть проницательным человеком, чтобы понять, что он сильно нетрезв.

— Да плюйте вы на них, — советовал он и все улыбался, открывая рот, переполненный металлом. — Сычи они соленые. Это на них верховые ветры так действуют… И на меня… Я так: моряна — трезв, верховый — пьян… А пьяный, трезвый — не

буян… Всем места хватит. В крайности можно и сидя. Спина к спине, и сон сладок… Может, выпить? А? Так я мигом, а закусь тут всегдашняя… — он выбежал из сеней в комнату и принес большую стеклянную банку так называемой черной икры. Только она почему-то была серая. Кинул на стол алюминиевую ложку и взял с подоконника недопитую бутылку.

Я очень устало помалкивал и изредка машинально благодарил его за хлопоты.

— Путина кончается, — посмеивался он, — а плана нет. Кушайте икорку. Она отбракованная. Все равно плана нет… Вы молодой, вам все на пользу… — и все говорил, говорил, говорил. Наконец он затих. Водворилась тишина. Мы сидели у стола в полутемных сенях с небольшим оконцем. В помещении было душно, а по острову все гулял злой ветер. Он становился напористым, воинственным и тянул уже только в одну сторону, прижимал к земле людей, птицу, скот, строения, прижимал флот к причалам, словно боялся, что в один страшный миг все это поднимется разом и уйдет в неизвестном направлении.

Ветер грозил и настораживал.

— У меня в тридцать восьмом… — заговорил снова приветливый и стиснул кулак, словно зажал гордо тщедушного цыпленка. — Вот такой, как вы, был, молодой… — Он все еще улыбался и вдруг люто перескочил в злобу, отчаянье, словно потерял одну нить рассказа, а за другую не успел ухватиться. — А теперь… ни дома, ни семьи!.. — Он рывком поднялся с голой железной кровати и пошел. Осатанело выругался, перекрыл шум порыва ветра. Чуть не сорвалась с петель распахнутая им дверь. Он с трудом поймал ручку и с грохотом затворил сени. Откуда только такая сила взялась в его узловатых руках с искореженными ногтями.

Через окно было видно, как он шел по песчаному острову; тяжелая голова клонилась к земле; ветер со свистом парусил его серую расстегнутую рубаху и широкие холщевые штаны, прямые и жесткие; руки были — глубоко в карманы. Это теплая водка и ветер шевельнули его вдруг не в ту сторону, но он не позволил им больше того, что само сорвалось с языка… Он шел к порту. Там принимали рыбу, ругалась и шутили. Шел к тому плоту, над которым среди прочих призывов выделялся один, самый большой и самый яркий:

***ПЬЯНИЦА — ВРАГ ПРОИЗВОДСТВА, НЕСЧАСТЬЕ И ГОРЕ В СЕМЬЕ!***

К вечеру мой радушный знакомый заболел. Он не был пьяницей и, как мне рассказали, «принимал ее редко». Звали его Геннадий Михайлович. Заболел он сразу и сильно. Оказалось, у него очень больной желудок, и «водку ему пить никак нельзя, ни под каким видом».

Я стал лечить его, как мог. Дал таблетку фталазола потом анальгин, но он не держался на ногах, лежал на своей койке и, казалось, вот-вот свалится от боли на пол. Тяжко стонал и маялся.

Все сообразили, что помочь ему не могут и стали собираться в клуб. В этот день давали новый кинофильм про Балтику и матросов.

Разошлись все быстро, и я остался с ним один на один.

— Геннадий Михайлович, может быть, вам грелку соорудить?

— Не-е-е… Не на-а-до! — упирался он. — Иди в кино… И-и-ди-и… — словно упрашивал он, но боль усиливалась, и наконец он сдался.

Я вскипятил на плитке чайник, нашел в углу большую пятилитровую стеклянную банку из-под помидоров, залил в нее кипяток и притащил вспотевшую от пара посудину к кровати Геннадия Михайловича. Тот слабо улыбнулся и проговорил:

— Как же я эту громаду на брюхе-то удержу? Мне тоже было смешно, но я понимал, что галлон с большим плоским дном куда удобнее, чем поллитровая бутылка.

Наконец я установил самодельную грелку на его животе, плотно укрыл сооружение двумя одеялами и спросил:

— Ну, как?

— И-ди, браток, иди… — с тенью благодарности простонал он, но я заметил, что больше всего ему хотелось, чтобы я поскорее ушел и оставил бы его один на один с болезнью, стонами и нелепой стеклянной башней на животе.

Мы смотрели кинофильм о революции на Балтике, и я удивлялся тому, что набитый до отказа рыбаками и рыбачками зал смотрит совсем другую картину, не имеющую никакого отношения к революции и Балтийскому флоту. Они придумывали на ходу свой фильм и откровенно громко, на весь зал, решали свои насущные житейские проблемы.

— На фелюжку ее! — хрипел один.

— Палку! Палочку!.. Не тяни! — подсказывали другие, помоложе.

— Чего зря болтаешь? Щи остынут! — советовал третий.

Зал буйный. Все вслух, всё сразу и вместе: испуг — так испуг, смех — так смех! Неловкость закрывается руганью, шуткой,

откровенно похабным замечанием… И вдруг из этих же уст вырывается тяжелый вздох глубокого сострадания.

— Э-э-эх! Бедная. Одна осталась… — это когда главный матрос вместе с каким-то морским сооружением взорвал себя, подробно объяснив причины своего геройского поступка.

Когда я вернулся в приезжую, Геннадий Михайлович крепко спал. Пятилитровый галлон с остывшей водой стоял на полу, рядом с его кроватью.

После первой нашей встречи Геннадий Михайлович шесть суток работал денно и нощно. И шесть суток молчал.

Мне следовало ночью выйти попутной посудиной на Астрахань. Но к девяти вечера снова разыгрался шторм. О выходе в открытое море не могло быть и речи. Опять подул верховый…

Наутро Геннадий Михайлович появился в доме для приезжих. Он был уже на взводе и шел медленно, придерживаясь за спинки кроватей. Остановился в дверях маленькой комнатушки и заговорил так, словно минуту назад оборвал обстоятельный рассказ и вернулся для того, чтобы продолжить его:

— Чего это еще хотел вам сказать?.. У Мариинского стоял полуэкипаж… Они на кораблях еще не были, ждали распоряжения. А с Аничкиного моста в воду бросались… Казаки… — начало разговора показалось странным, но я все равно слушал, — Дворцовая… Как свои пять знаю… Старуху надо было свозить в Ленинград, пока жила, — продолжал он. — Обязательно, все как есть показать… Было мною описано. Не как-нибудь там. А как обыватель, обыкновенный участник… Февральская Революция… У-у-у! Сила была. В Октябре — тоже, но озверели… Махнул рукой, записался в гвардию… Красную… В двадцать третьем демобилизовался. Здесь работал… Потом учиться послали… Предсоюза…

Я сидел на койке и слушал, а он все стоял в дверях и говорил, говорил…

— … Столыпинские вагоны… Столыпинские!.. — уже бурчал он и все силился вспомнить что-то главное.

— Били, сучьи дети, палками, всех… Столыпинские вагоны… Привезли в Москву… Ну, думаем, тут-то разберутся! Москва! Год номер 38… «Откуда?», — спрашивают. «С Кавказа!»

Ну били… По-новому! Здоровенные железные крюки… Зацепит и тянет. Живой — мертвый, не разбирали… В Свердловске, на пересыльной, спали так, сидя, спина к спине. Заходим (ёшь твою!) — весь МХАТ, как есть весь… Ну, мы братва, полутакая, полусякая. Каша… стали рассказывать, кто что знает. Одни из книжек, другие — разное… камера большущая… Народу!

Коммунистов!.. Каждый свое: циркачи свое выламывают —

умора. МХАТ — свое, из книжек… Директор элеватора, из наших каспийских (ёшь твою!), давай читать «Луку Мудищева», с нецензурщиной! По памяти. А один из МХАТа (а может, и не из МХАТа) бегает по камере: «Товарищи! Нельзя так! Гибнет культура! Культура гибнет!.. Великая!.. Российская!..». А тот Луку с нецензурщиной!.. Ну, тут еще были за МХАТ… Целый митинг… За Советскую власть:

— «Нельзя так, товарищи! Высоко держать!»…

Он неожиданно осекся.

Я воспользовался паузой и спросил:

— Это какой же МХАТ?

— Культурные, в значении, люди, — пояснил Геннадий Михайлович и, словно его подтолкнули, продолжал:

— А тот всё кричит: «Культура гибнет!» «А этот Луку…» А тот давай колотить в дверь: «Надзиратель, прекратите безобразие… Культура гибнет! И уже прямо под пятьдесят восьмую лезет. Излагает! Кричит! Его тут и увели. Пришли и взяли. Больше его никто не встречал… Что это я хотел сказать тебе?

Мучительно вспоминает:

— Да ладно. Вспомню — скажу.

# Марсель

— Дно, — говорит Мочалов Александр, указывая пальцем в землю. На моей памяти тут дно морское было. Отступает море, дает мне простор-свободу, а я не знаю, что с ней делать…

Он идет шаркающим шагом, чуть вразвалку, небрежно, за спиной мешок, на плече поверх мешка — здоровенное весло, петли на приспущенных голенищах резиновых сапог телепаются по земле. В побелевших губах сигарета.

Сегодня в вечер я уеду с этого острова, и, может быть, больше никогда не увижу Мочалова.

Вдруг мой спутник резко сбавляет шаг, искоса глядит на меня и спрашивает:

— Интересуетесь, почему меня здесь Марселем прозывают?

Наверно, его дружок Ксенофонтыч, то ли шутку, то ли всерьез, пересказал ему, что я полюбопытствовал.

— И теперь-то я заводной, а в юности был совсем шалый, — и тихо, словно себе в насмешку, мурлычит: «Марсель, Марсель, звенящий город. Се бон Марсель, се бон Марсель».

И без передыху продолжает:

— К немцам в плен я в самом начале врезался… «Да я! Да мы! Как дам — пойдешь ко дну!..» Как размахнулся. Как дал… И прямо в конслагерь. (Так и сказал, через «с», словно их там консервировали.) Я сразу бегать стал. Как поймают — карцер мне и проучка по категории. Принял сполна три раза. Так добегался до строжайшего режиму Матхаузену, при котором есть одна дорога… — и он снова указал пальцем в землю. — Уже в угольной команде был. Совсем концы отдавал. Древесный уголь жгли, в мешки паковали. Один француз-шофер меня оттуда в мешке с углем и вывез. Мешок-то зашитый был. Никто понять не мог, как я не задохся…

— А дышал-то как?

Он заулыбался, словно печатью удостоверяя верность рассказанного:

— Да никак! Все думали помер. Сам думал — помер. Вынули — дышит… (это он про себя). Во Франции на фирме работал шофером. (Я так и не понял, на «ферме» или «в фирме». Они мне документы на настоящего француза справили.

— Ну а с языком-то как же было?

— Да никак. Чего надо говорил, чего надо понимали… Хороший народ французы. Не знаю, какая у них теперь пошла политическая трения (потер друг о друга указательные пальцы, словно попилил одним другой), но относились и к нам французы

хорошо. Даже очень. Все кричали: «Иси Совет! Иси Русс!» Они мне «иси», я им «на небеси!» — и есть контакт: камрад — дружба.

Лицо у Мочалова обветренное, загорелое, с какими-то проплешинами в загаре, как от ожогов. Сам небольшой, щуплый, не то чтобы суетливый, а скорее шустрый. И совсем бесфокусный. Рассказывает про себя всё как есть, как было — и хорошее, и гадкое, не скрашивая ни того, ни другого. Он считается одним из лучших мотористов на острове. И вправду, моторы знает преотлично, отечественные и «загранки». А когда надо, то и с дизелями управляется:

— Международный опыт, — серьезно говорит он.

— А чего ж делал-то во Франции?

— Когда надо, МАКам помогали или кому еще там по партизанской линии. Не сидели без дела. Чуть что, опасность, нас или отправляли куда, или припрячут. Мне — так вольготно было, говорили, что я похож на француза, и опять же думают за тебя все — только исполняй. Американцы пришли (снова глаза его заискрились). Союзники! Взяли они меня. Студебеккер дали. Как-никак помогаю.

Там переговоры разные идут. Много нас набралось… Я баранку кручу день-ночь. Мнениев на это счет тоже много было. Армия-то чужая, а я служу! Наши одно шумят, те другое. А война идет. Как-никак союзники… А нас одели, поотьелись мы малость, поздоровели изрядно. Собрали в кучу и говорят: не гарантируем. Война— есть война. Но отправляем вас по настоянию Кремля домой в Россию. Ну, тут кто плакать от радости, кто смеяться, кто в затылке, кто в заду почесывать… Денег дали прилично и гуртом в Марсель. А в Марселе до погрузки на корабль три дня полного отпуску, без контролю, без надзору, без всякой привычности… — Мочалов сделал игривую паузу, понимая, что собеседник сейчас будет ждать рассказа о публичных домах этого знаменитого портового города. — Вышел я на площадь и тут в первый раз за всю жизнь почуял, что могу сейчас идти, куда мне хочется, и никто меня неволить не станет. Все кто куда разбрелись, как сонные, а я тут вот, где стоял, там и сел на край плитуара… Сижу. И даже морду по сторонам не ворочую… Дышу.

Глаза его засветилась озорным, не то запойным, не то мальчишеским блеском, будто он разом хлебнул чего-то родного, без чего вся его жизнь была бы лишена главного хмелящего аромата, без чего ему и жизнь не в жизнь, и пропади всё пропадом. Он дал мне возможность ощутить то, что некогда ощутил сам, подождал, проверил, понимаю ли я, о чем он мне только сейчас говорил, и лишь тогда продолжил, — а там уж и я пошел. Как и все… Три дня, три ночи!.. Только дым коромыслом

завивался… Принял муку Марсель! Все, что знали — все отдали. Эти три дня… — он искал слов и не находил,

— … в ширину и раздолье! Вот и теперь иной раз вот-вот, вот-вот — скоро! — дам залп из всех главных калибров! А что дальше — и думать не хочу. Не желаю! Во, что такое Марсель! — Мочалов чуть передохнул и проговорил совсем буднично.

— Если, конечно, публичными домами интересуетесь, то могу рассказать, только все врать буду, оттого, что хоть и был, а ничего там не упомнил… В назначенный срок, кто мог, дошел до причалу, и пароходами в Россию. Через Среднеморье. Кого потопили, кто цел добрался. Русский — он, как рыба на нерест — мрет, а все к дому двигает. Не видал? Вот ты поставь на ее пути любой заслон-преграду, она в кровь разобьется, а проскочит, или к верху пузом, и по течению… Это тоже возможно. Я про рыбу, конечно… Причалили — Россия — Советский Союз! Ура-а! На что крепкие мужики, а и то плакали. Раз! И в лагерь фильтрационный!. Помяли, помяли *и*… Два! Кто рядовой, как я, — опять в пехтуру. Вперед! А кто званием побольше, тех в намордник и лагеря… Мне так — снова война. Вторым заходом Германию обтопывал. Бац! — госпиталь. Бац — убежал. Бац — фрицам крышку сделали… А тут подвезло с японцами. Кинули на Дальний Восток. Навострились. С ходу как дали им — один желтый пух летел по всей Маньчжурии! Войне конец — чего делать? Жену там взял из Хабаровского края. Дальневосточница. Давай покажу?..

Он завелся, не хотел отпускать. Затащил в свой дом и мигом послал за водкой…

На столе уже стояли два пол-литра и минеральная «Махачкала», а он всё приговаривал:

— Ты не смотри — это только начало. Дальше еще раздобудем. Это начало. Вот она, моя краля. Сидит Елизавета, не улыбается Яковлена. Рыбу не любит, икры не ест. Дальневосточница. Обычаев своих на меняет шестнадцатый год.

Жена Мочалова Елизавета к военным рассказам мужа относится со сдержанным юмором. Он говорит, а у нее глаза чуть посмеиваются, и как только Александр после первой стопки стал закусывать, напевно проговорила:

— Ой, мужики-мужики, как дитё малое. Смех-горе!

Она тихо смеется, щепоткой ладони прикрывая рот.

— Понапиваются, глаза вытаращат! Красные. Орут все разом, руками размахивают, все одно, все доказывают: «Я да я! Я да я!..» — Смех… Ты, Ляксандр, чем похваляться, лучше про валасипеду-то расскажи.

— А чо рассказывать-то? — Охотно включился Мочалов. —

Купил сыну велосипед с моторчиком. Это еще до мотоцикла было. (Я знал, что у него теперь мотоцикл и видел эту машину под навесом в разобранном состоянии). Обмыл до такой степении, что чуть стоял на ногах. Но сноровка взяла верх — заправил, завел… Сел на нее и, не глядя на ночь, помчался по поселку.

— Словно бес, — добавила Лизавета.

И он рассказал, как дважды облетел весь поселок, чудом минуя столбы, скамейки, изгороди и уже возле самого дома, на голом песчаном пустыре с одиноким столбом «от электры», на полной скорости дался сначала об этот столб, а уж потом об землю… Полежал… Встал… Нашел изогнутый велосипед… Отыскал моторчик и понес их в дом.

Жена обмерла:

— Шура! Это кто ж тебя так больно бил?

Мочалов подошел к зеркалу, увидел, что вся его вывеска залита кровью, улыбнулся и сознался:

— Да это я все сам. От характера.

Все время, пока Мочалов рассказывал историю с велосипедом, Лизавета сидела у стола, скрестив руки на груди, не пила, не ела, поглядывала на него снисходительно.

Дом у Мочаловых не богатый. Икон нет. Здесь это редкость, а вообще-то остров славится старинными иконами. Хозяева хлебосольные, выставили на стол все, что было в запасе. Детей только двое — это по местному обычаю совсем мало.

— Больше хозяйка не схотела, — оправдывается Александр, намекая, что он, мол, не виноват.

Забежал в избу сынишка-четвероклассник. Сплошная конопушка. Голова длинная, забавная, глаза ласковые, грустные — мамкины.

— Сообразиловка — первый сорт! — Уже хвастает Мочалов. — Один недостаток — учиться не хочет. Удивляюсь терпению учителей. У меня, к примеру, нерва не та, я бы давно им головы поотрывал.

Пески острова наступают на поселение, языками проникают в улицы. Мочаловский дом первым принял на себя их суровый натиск. Забор местами по верхнюю доску засыпан большим барханом, покосился и вот-вот повалится в расчищенный двор.

Заговорив о песке, Мочалов-старший погрустнел, пообещал вскоре покинуть этот остров и начать новую жизнь. Упомянув новую жизнь, почему-то выругался. Елизавета посуровела, но не шелохнулась:

— Ну, чего, чего лаешься-то? Смотри, грамма больше не дам.

— А чего плохого? — удивляется Александр. — За слово

извини, а если не пить, для чего тогда всё это? Работаешь — света не видишь. День-ночь. А взял свое: я и хороший, и добрый, и богатый, и всё мне через меру.

— Ну хороший и доброй — ладно, а богатый-то почему? — спросил я.

— Пришел из моря один раз. Сестра на берегу лодку смолит. Занеси, говорит, свежака в дом. Уморился, поди? Там брага— возьми стакан-другой. Со мной цельный мешок рыбы. На вдов и сирот: у нас закон, хоть в кодекса не обозначено. И даже не преследуется. Захожу — бутыль браги светится. Ну, я стакан-другой, а там ограничитель не поставлен, я ее и допил — засмеялся от удивления. — Захмелел знатно. Иду по порядку: рыбу направо, рыбу налево, все довольны. «Спасибо», — говорят, — дядя Шура, очень благодарны». Дошел до дому — мешок пустой. Вот, выходит, я и богатый.

— Куда богаче, — заметила хозяйка.

— Это точно, — обрадовался Александр, — а зачем оно мне? Кому больно много надо, тот сволочеет быстро. *Я* вот после Отечественной и работал и трудился, а лет десять на ноги встать хозяйством не мог. Что, думаю, за черт такой? Иные выправились, иные даже через меру, а я — никак. Тут зять у меня был, двоюродной сестры муж, через канал, на полуострове Лопатин работал. В жир пошел — аж глаз не видно. Приезжает. «Здорово», — говорит. «Здорово», — я ему. А чего ему не «здорово»? Одна сберкнижка — на Лопатине, другая — в райцентре. Оборотистый. «Плохо, — говорит, — живешь, Александр. Ставь литру — научу». «Учи», — говорю. А он мне: «На Лопатине завстоловой посадили, поезжай! У тебя ордена, биография, подавай заявление — возьмут. Слушаться будешь, враз на ноги поставлю».

Махнул я рукой, поменяю, думаю, курс на зажиточный. Поехал. Взяли.

— Поезжай, — говорит сродственник, — купи барашка.

— Купил. Шесть штук. Заплатил по сто пятьдесят, — документы по двести сделали. В сельсовете печать — хлоп!.. Три сотенных в кармане, аж пот выступил… привожу… «Обдирай», говорит. Обдираю. «Намочи», говорит. «Ты что, спятил? Заплесневеет…» «Мочи», кричит. Мочу. А мясо-то мыть нельзя. Оно враз зеленью покрывается. «Зови, — говорит, — комиссию… Негодно — списать!» Хлоп! — списали. Сродственник тут как тут. «Тащи, — говорит, — корыто, соль, отмывай в тузлуке — соляной воде». Ну, тут уж я сам допирать начал… Мою. И на холодильник… «Поезжай и вези документу еще на шесть штук!» Везу. А я их и не покупал совсем… Ну, думаю, если так дальше

дело пойдет, то враз разбогатею: там триста и тут шесть раз по сто пятьдесят — так это же тысяча двести одним махом!

Зять говорит: «Научил?» «Научил, говорю, голова у тебя, стерва — сила!». «С тебя магарыч, Александр». «Законно».

Покупаю по литру на брата. Выпили, закусили… Утром просыпаюсь — ОБХС. Дали два года. Отсидел…

Он помолчал немного, посмотрел на Елизавету, на сына, на меня:

— Вот я весь мир топ-топ-топ-топ: Европа — Азия — глобус. Людей повидал миллион. Философию понимать стал: «Чутье определяет сознание»! На остров возвернулся… И если человек с человеком вот так, как мы с тобой, не посидит и не поговорит, то мне лично такая жизнь не подходит.

Тут он снова возвеселился. И запел:

Марсель, Марсель, звенящий город.
Се бон Марсель, се бон Марсель…

А мне уезжать пора. Ну что за горе? У горя и слезы.

# «Как вдох и выдох…»
# Бабкины рассказы

# «… Как земля»

Не могу сказать, что люблю слушать бабкины рассказы. Слово «люблю» здесь неуместно. Но слушаю. Не потому, что складно излагает, а потому что говорит истинную правду, разве что иной раз год 1908 с 1918-м перепутает. Её сын Никола погиб на фронте в Отечественную. Открыто и слёзно убиваться по нём она перестала только тогда, когда торжественно открыли под Кремлевской стеной могилу НЕИЗВЕДАННОГО СОЛДАТА (так говорит Надежда Петровна). Она верит, что именно там покоится прах его, вечный огонь горит не зря, а то ведь сколько лет она так и не знала, где ее сын и, главное, погребен ли?..

Еще у бабуси остались две дочери. Одна в Донецке, муж не пьет, живут в согласии, только дочь хворает сильно. У неё, у дочки-Шуры, два сына: один на шахте в Усть-Норильске (бабусе Норильск и Усть-Каменогорск видятся как один огромный северный угольный край), деньгу гонит и тратит её без видимого толку; другой в Караганде, срочную военную службу отбывает, и бабка ему нет-нет да вышлет десятку. При каждой весточке от него, где солдат просит очередную десятку, ликующе восклицает: «Вот зараза! Не забывает бабушку! Не забывает, пёс-перепёс! Бабушку не забывает». Вторая дочь Надежды Петровны в Москве живёт, тоже двух детей имеет, паренька-подростка и дочку, вырывающуюся в совершеннолетние не без приключений. Московская дочка Валя тоже замужем, но об этом браке двумя словами не скажешь, так что бабуся рассказывает с подробностями.

— В то утро по всему-городу-области гололёд был, — Надежда Петровна любит по несколько слов объединять в одно, и у неё получается. — Дочкин-Валин-муж-Петр-Васильевич работал сцепщиком вагонов на железнодорожных путях завода Сталина-бывшего-Лихачёва-автомобильного, а сам — Шухов. Сцепщики по такой погоде галоши надевают. Склизота — один лёд. А Пётр галошу не надел, осклизнулся на застрелке. Зацапило. А он тверёзый был. Сам на энтой стороне, а машинист на ту смотрит. Семь вагонов ему по ногам и проехало. Уж и кричал машинисту, и свистел (у него свисток при себе был), сидит, нет ему помочи, а тут паровоз накатывается. Уцепился он за энтот, буфер что ли, и давай. Держится. А сам сил-здоровью-и-росту агромадного. Откуда только берутся такие? Грецкие орехи без удара ломит, словно дверной створкой; бывало, как ударит Валю-дочку-мою, сразу омарок. Он за это и в тюрьме два года сидел. Бигамот-проходимец, мучитель-сваво-семейства!.. Сын ему, Толик,

говорит: «Вот погоди, подрасту, вымахаю с тебя-каланчу, в одно прекрасное утро убью». А он ему, Петр-отец, значит: «Не доживёшь, — говорит, — я вас всех одним распрекрасным утром перережу». Это он спьяна всё. Как земля! Оглашенный. Ему одна поллитра ништо, ему вторую давай, а то и третью… Не умеет.

Вот дядя у меня был, отцовый брат. Он водку пробовал пить, а не умел. В девятьсот шестом году на молоденье-рождество братья приехали, ещё на Смоленщине — пили. А он пошёл их провожать. Босиком по снегу. Кувырк, кувырк по сугробам — получилась воспаления. Лёгких. Теперь-то уж известно — двустороннее: за две недели отлетел. Не умел, а пил. Вот жена его — умела. До восьмидесяти четырёх годов прожила, семерых детей подняла. Сама.

Я-то вот говорю вам, а его уцапило и тащит. Он и кричать перестал, потому как знал, где этому паровозу остановиться на маневре положено… Остановился паровоз. Машинист глядь — мать честная! Пётр ему:

— Ты чего, сучий сын? Я ведь кричу, и свистом, а ты?

— Не слыхал, — один ответ.

А у Петра уже не токмо ноги, ухо порвало, кожу по дороге с головы наперёд завернуло, и ещё много разного — два ребра, кость тазовую, другие кости тоже.

Говорит всё это бабуся, не вздыхая, не охая.

— Это специлизация у них, у сцепщиков, такая. Одна судьба — один каюк. За двенадцать лет он уж восьмой, али девятый. Так что тут жена кажный день жди. Ровно космонация. А сама она в роддоме. Только-только второго родила, доченьке полтора года, а энтому два-три денёчка, и к ней в роддом: зацапило, говорю, гипс!

А она и так белая лежит:

— Да его, наверное, и капельки-крошечки нету. Какой там гипс?

Так прямо и сказала.

А его, значит, и то правда, после плоцедуры прямиком в моргу. Это уж он сам мне потом рассказывал: «Очнулся нагишом, глядь, пять покойников, я шестой, думаю, так не пойдёт! Дотянулся до палки, давай окна крушить. Опять, полуподвал! С улицы толпа собралась, милицию вызвали, решили, фулиганы в моргу забрались — безобразничают». Долго они там рассуждали, всё стыдили его, через битые, окна урезонивали. А он сказать им толком не может, что это не от хулиганства, не от водки, он её, конечным делом, пьёт, аглашенный, без всякого понятия, но и в покойницкую его тоже пока нельзя. Это что ж за порядок такой?! Тут уж разобрались, переполошились. «Вы, — говорят, — не

волнуйтесь, чего только у нас не случается, бывают дни, — говорят, — по тридцать-сорок случаев за сутки — в ночь на 8 марта, например, ликордное!..». А я им: «Причём тут праздник? Нынче ведь будни, четверг?». Стали выправлять положение, в операционную его. Я в колидоре сторожу. Они подходят по одному, говорят ласково так: «Бабушка, чего вы здесь сидите, идите домой, мы вам сообщим». А я нет. Сижу себе и сижу. Нагляделась — страсть! Там ещё одна хорошая женщина уборщицей работает, та всё мне рассказывала… Одного везут прикрытого, я отвернула простынь — мёртвый, а не он. Потом уж, через сколько часов, гляжу, нянька таз несет. Тоже прикрытый, дай погляжу. Откинула — евонные ноги лежат. Припадок их возьми! Я их знаю, он сколько разов при мне мыл их. Одна, значит, по сих, а другая помене, у счиколотки кончается. «Жив, — говорит, — пока». Ясное дело. Можно и домой бежать. А там уж и ходить за ним стала. Бульоны, пельсины, чимес морковный, с ложки всё кормила. Он как очухался, так и говорит: «Петровна, я как отойду малость, все окна им тут заново, перешибаю. Я им эту моргу так не оставлю. Я прямо родному правительству сообчение, чтоб их здесь усех тут…». Прости Господи, выражаться стал, зараза, до неприличности, и так и поперёк, прямо нехорошо перед иными помирающими, они, может, про что другое думать должны.

Полтора месяца я за ним ходила, всё деньги свои тратила. Где ни пропадала! Мне их не жалко… А там ему уж и протезы сделали. Две штуки, тяжеленные, как кувалды, ей Богу!

Тут Лихачёв, значит, завод ихний, комнату ему обменил и говорит: «Сапожником работать у нас будешь». А ему что? Даже лучше, сидит в тепле — тот полтинник, тот рубль подкинет. А он работать мастер, денную норму за два часа делает. Теперь женчины, бедные, вертят задницами — надо! — каблуки и отрываются. А он с них за каблуки и берет, «калым!» — говорит, пёс-пере-пёс. И пить стал ещё швыдче. Уж больно здоров, зараза. Пьёт, как земля! «Чего, говорит, мне повесть о настоящем человеке? Я не против Маресьева. Мы по ногам с ним — родня. А натяни мне канат через всю Красную площадь при огромном скоплении народностей, я туда заберусь, протезы скину и могу любую головокружительность зафигачить. Ахнут!..»

Ты, говорит, Петровна, на своей работе с известными людьми встречаешься, они к Кремлю поближе, пусть там произнесут: «Пётр Васильевич Шухов готов по канату любое задание Родины!.. Или в цирке. Но тут уж за деньги, само собой. А на Красной могу, как бессребреник».

Так я его и попросила, он мастер хороший: «Почини, —

говорю, — Петя, мне ботинки». А он оглядел ботинки: «Стоить будет четвертак! Это по- старому».

— Чего? — Я не поняла сразу.

— Двадцать пять, — говорит, — чуть мене поллитры.

— Я ж тебя, — говорю, — с ложки кормила!

А он: «Потому и мене, а не боле» — и весь сказ. Вот ведь ирод, зараза безногая. Бигамот! Другой раз, думаю, отрежет тебе чего, так и близко не подойду… Шалели люди, прямо шалели. Припадок их возьми! И это в пору космонации, — уже с некоторым пафосом продолжает бабуся. — Все неба исчиркали. Сгребают, богатырствуют — силу показывают. Стыкуются тама, из кузова в кузов перелазиют. Во, шалые! Ихние матери, небось, исплакались вконец, из нервного радикулиту в скрулёз перебираются. Что за жизнь?! Например, Толик-дочкин-сын, внук мой, в половине перьвого домой привалился!.. Вот пёс. Ложись, говорю, спать не жрамши.

— Что я, сдурел, — говорит, — чтобы ложиться спать не жрамши?!

Стал блины разводить, ему пятнадцатый год, вот ведь зараза! Чад в квартире — дым пеленой. Час ночи — он всё блины ладит. Трудолюбивый такой. Авиамодели всё запускает, да мастерит сам. Премию получил, грамоту. Смышлёный. Отец проснулся. Как земля — две поллитры зараз выжрал. Истинный Бог! Одну в обед, другую к вечеру. Хочет заснуть — не может. Курить стал, скотина. Папироску за другой. Мать пробудилась, доченька моя, устала спать… Ад-адёшенек! Шатается болезная, да и рухнула — омарок. Мы её на ноги, а она на пол. Мы её на ноги, а она в стенку. Думаем, помрёт. Шале-е-ли! Вызвали доктора.

— Удивляемся, — говорит, — как вы здесь при своём энтузиазме все не перемёрли.

А энтот блины печёт. Говорит:

— Я вас знаю! Сейчас отойдёте, все захотите. Подсядете… Я не одурел, чтобы ложиться спать не жрамши!

А кот с сибирским хвостом, сам драный такой — один шкилет, орет, по квартире метается. Нервный он у них, прямо заходится, страсть! Одна чистая нерва — никакого кота нету. Метается!

— Убери, — говорю, — эту заразу с хвостом! Мелькает он у меня перед глазами, свету не вижу!

— Если ты, старая, — говорит, — такая революционная (это он четырнадцати лет — пятнадцатый отроду!), то сама и убери его. Он сибирский! С хвостом! Он тебе не то что глаза, он тебе печёнку выдерет.

А сам, подлец-малолетка, — прости меня, Господи! — жарит

блины, словно, на целую кавалерию! И так осерчала, что… прямо проголодалась. Села с ним. Догадливый такой, смышлёный парнишка. Чтоб его скорей в армию загребли, идола! Вы не знаете, нынче с какого года берут?

# «…Как птица»

— Разве можно матери своё дитё переживать? Не по-людски это. Не по-божески. Спаси её, Царица Небесная!.. Да куда там? Рак он и есть рак, а у неё в ноге, — говорила Надежда Петровна и замолкала надолго в раздумье.

Вот уже три раза ездила Надежда Петровна в Донецк хоронить свою дочку-Шуру и всё назад в Москву возвращалась. Первый раз — полтора месяца, второй — три с половиной, а тут — почти что пять.

— Круг! В Донецке мука-мучентская, а здесь — вдвое, Шуре-доченьке под шестьдесят, из себя вся объёмная, повыше мужа-Ивана, хоть и тот росту среднего. Работница, рассудительная, в грамоте, правда, не так уж сильная, а не мудрит: какой сказ ей ведом, так и излагает — не выдумывает, какая буква слышится — ту и ставит в словечко. Ничего, кому надо, понимают.

На этот раз Петровна как-то быстро свернула свои дела пенсионные, уложила тяжёлый чемодан, три узелка, две авоськи, коробку из-под обуви тесемкой повязала, сумку набила самолётную «Аир Франс», попрощалась со всеми, как положено, пожелала «добра-радости-здоровья и чтоб дети не ленились-учились-отца-матерь-слушались», села в поезд купированный — «на нижней полке, повезло!» — и покатила снова в Донецк. Решила: либо дождаться дочкиной кончины, либо самой предстать — отмаяться уж насовсем.

— Шурин-муж-Иван весь худой, отработанный, а тихий. Та его не шпыняет, не одёргивает, иной раз даже тянет силком в разговор, а он не поддаётся. В смысле хорошей компании очень любит посидеть-помолчать-послушать. Ран до дьявола — четыре штуки основных! И всё не шаляй-валяй, настоящие, на вакуацию, на тыловой госпиталь рассчитанные. Длительно излечится и в боевой строй. Командир автороты! Автомобилей этих он не любил-не любит. Прямо не терпит он эти автомобили! Любит дома строить обыкновенные, беззатейные, для жилья для жизни приспособленные. В этом деле всё могёт справить сам. Так и вышел на пензию при Никите, в пору всеобщей размобилизации и пониженной обороны. Пензию не полную, а получил. С лесом в этих местностях завсегда трудно и дорого, а шлаку в Донбассе на тысячю лет запас — больше, чем земли родной. Вот он шлаковые стены с опалубкой и научился лить — там ещё, в демократиях. А кому дом не нужен? Всем нужен. Сил бы только хватило. Себе дом Иван не сразу, а поставил — казённую квартиру так сдал. Потом уж сколотил из пенсионников фронтовую строительную

бригаду — два сезона в год льют дома в других областях-районах, чтоб не застукали, два сезона дома отсиживаются, хозяйство отлаживают, здоровье легурируют. В промежутках телевизор глядят — мильгает и ладно, а иной раз и попадёт что стоющее. Даже полезное. А ещё в тот предпоследний раз у меня снова беда — зуб заболел. Поеду, думаю, в Москву лечить. Спортют мне здесь весь протез. Каторга как намучилась! На вокзале провожает меня Иван, на дворе заметь большая, прямо свердлом свердлит, да как заплачет при народе: «Мама! Мама! Помирает Шура. Это что же будет?!». А по вагонам ветрило — того и гляди повалит его, а капли не пил… Она за ним, как птица, летала, чтоб не завалился где, не заболел, чтоб устоял… Она за ним, как птица… Приехала с зубами в Москву — как заменили город!

Гоняют с места на место и везде один ответ! «Приезжая!». Рассерчала: «Что я, — говорю, — с Америки приехала?!»

Села, думаю, буду сидеть, пока не справют… Помучили — справили. Хороший такой еврей попался, Марк Борисович — мастеровитый, зараза. Перед ним все на цыпочках ходют — «Марк Борисович да Марк Борисович!» Как перед чином! А я-то знаю, евреи в Иисуса Христа не веровали — не верывают, а всё равно, кто у нас Бог? Один Он — НЕБО! И покрывает, и поит, и кормит все нации-исповедания… Вот он и справил мой протез — Марк Борисович!.. Зубы зубами, а к дочке-Шуре ехать надо. Поехала… Десять месяцев, без малого одиннадцать, тянулась эта пытка-каторга. Всё в напряге, в напряге. Я вроде опять выжила, дочка-Шура преставилась. Кроме мужа-Ивана оставила сына-Петьку, из армии только вернулся, срочную отслужил, и Генку — сына-старшего, что в Норильске, бес его знает, что под землёй долбит — уголь не уголь, кокс какой-то, дорого стоющий. Ему платят! Доченька моя доченька, такую муку приняла. Я, бывало, руки сложу, думаю, ладно — помру сама, только бы она жила. А помирать страшно!.. Доченька, кровинушка моя, всё помирает, помирает, а не может — силы дёржут! Не пускают туды!.. Мне и говорит: «Вы, мама, как я взаправду стану помирать, мне не мешайте. А то плакать-кричать станете, я пожалею вас… и ещё лишних дни три промучаюсь… А зачем?». И тут дело стала говорить. Значит, так, мама! — это дочка-Шура-говорит-а сама-уж-и-нету. — Купите мяса десять кило свинины, десять кило говядины — котлет наделаете; колбасы — пять палок, помидор десять кило; огурцы, яблоки, овощи — пусть свои… Пирожков чтоб!.. Два кило масла, два кило сметаны. Учините тесто с яблочной повидлой…

Так это она мне спокойно говорит, словно стольный праздник впереди, а не Суд Божий: «И постных пирожков, — говорит, — два

листа, к ним сметана, тех самых два кило, больше не надо, не покупайте. Пустые пирожки неначинятые поливайте сметаной. Я больше всего-другого эти пустые со сметаной люблю… Дальше купите сорок платочков больших, по рублю штука, и десять маленьких. И чтоб каждый, кто гроб понесёт (восемь значит), и тем кто два стула несть будет (ещё две штуки) — всем по платку… И чтоб гроб несли!» — Строго так наказала. — «А то дорога туда тряская, я не хочу. Чуть повернуть ногу, и то боль-больнющая, а тут трястись весь путь!.. Гроб чтоб за семьдесят рублей, обитый грубым, не тонким, и чтоб с кисточками. На два рубля кистей возьмите. Семьдесят рублей за гроб берут! Ведь это в два раза, чем на старые!». — Она это всё мне говорит, доченька моя дорогая, и плакать не велит. Я и не плачу. — «Туфли за четыре рубли. Я их уже глядела, — говорит, — ничего туфли, приличные. Покрывало — два рубля. Ну, венчик, крест и молитвенник — три по рублю. Вы бы записали, мама, а то ведь напутаете…» — Нет, говорю, родимая, я и так все помню, ты говори, говори. «Десять рублей за молебен. Свечки по рублю, ну, там тридцать или сорок свечек, сколько потребывается… Ну, значит, крест и гробница — чтоб загородка-загородкою, без халтуры! Коську старого не нанимайте, мама. Ворованную поставит, а я ворованного не принимаю… Теперь — говорит, — водки!». А я всё запоминаю, чтоб не пропустить, она хозяйственница-доченька. «Водки берите трёхлитровыми шесть бутылей — самогону, конечно…». — Ну, уж мы от себя нарушили, потом ещё в магазине вина взяли на пятнадцать рублей и пива на десять… Повелела, чтоб венок был от мамы — раз, от мужа — два, и от детей, чтоб в отдельности… Одну кровать чтоб Генке, одну — Петьке, одну кровать мужу-Ивану с подушками и со всеми удобствами пододеяльниками-подматрасником. Матрасы подкупили к ним новые-недраные. Опять же одежду всю поделила. Это она всё распорядилась — и ковры на стене большие по семьдесят восемь рублей! И дорожки широкие, длинные, ещё не раскатанные, как для-Юры-для-Гагарина. Его матерь, небось, день-ночь-места-краю сваво не находит. Н-е-е-т! Не находит, как я по своему Николеньке-сыну, что в могиле неизведанного солдата покоится, да по дочке-Шуре — земля ей пухом-перышком… Горят дети — горят! И в космуте тёмном, и в раковой боле, и атомом их зашибает, и дерутся-дерутся по всей земле в энтой жизни, на кусочки расшибают друг дружку, каждый в свою сторону тащит. А матери — неси поклажу, терпи, переживай своих деточек… Мой-то комиссар в гражданскую тоже агитировал-агитировал меня с пистолетом на боку, да с тремя детишками и бросил. На кой другой женился… Плащ мне велела

болоньевый; шубу — две пятьсот заплатила — мне. Шапку-муфту, сказала, возьми… Я ей: «Моя душечка! Сама поправишься…» А она один сказ: «Не мешайте, мама!».

А Иван смирный такой, он и на войне-то, говорят, ни разу «Ура», никакого другого слова не крикнул. Он меня уважает-жалеет. Иван говорит: «Не дам, мама! Или это — или то. Мне ещё жениться… Что тогда?» Иван слово скажет — не соврёт. Ему мерещится — как соврёт слово — все увидят. Он и не врёт. «Пётр с Красной Армии пришёл, у него ничего нет», — это Иван говорит. А Пётр — он теперь шофёром первой статьи на поливалке работает. Доволен. Говорит, хорошая работа, вольготная, и никто пальцем не тычет. Поливает. Платют. Выкрасил её сам — чистый праздник! Он меня на этой поливалке на вокзал доставил… Попрощалась доченька со всеми — семнадцатого померла. Телеграмма от Генки: «Не хороните, еду». Высохла, одни косточки стали, как шкилет — доченька моя. Во намучилась! Уже без зазнания была, а я ногу поправить хотела ей, так закричала чистым криком! А то не говорила уж совсем. Перед самой смертью чихнула… и ротиком открытым умерла… Тихо… Спокойно… Только чихнула. Да так здорово, словно жить взялась. А то всё мужу-Ивану: «Парни поженятся, а ты не женись. Ты слабый. И водку пить не умеешь… А они, бабы, какие?.. Особо в летах. Их век на исход клонится, да ещё застоялись-затосковались, особливо честные. А ты нечестную не возьмёшь. Я тебя знаю, Ваня. А вдовы и того страшней — у них вдовьи права особые. Она не постчитается, что ты с войны и за Родину. Разве что одна на тыщу иль на миллион! А ты искать-выискивать не умеешь. Нет, Ваня, не женись — так живи». Сказала и отдыхать стала. Отдыхает. А Иван думает. Переживает.

Правда, вот мой комиссар — Константин всё по бабам-девкам шастал — наболовался там на флоте. Всё моря-океаны. Кронштаты! А почему? По той же причине. Кто по мужской части сильнее будет, тот мене шастает. Ему и так ладно. А что слабый — ему чем разней, тем надёжнее. Вот он и мотается. У нас это дело известное. Вот и сейчас про это целые книжки пишут и у Белорусского вокзала на лотке торгуют, а люди убиваются нарасхват. А зря. Про это уже давно в Библии (спаси, Царица Небесная, и помилуй!) всё изложено… Она же за ним, как птица, летала. Как птица!.. Четыре смены обедало по двадцать пять человек, а мы уж сами в пятый круг! Ладному угоди, а сам оголоди… И званные тут были, и незваные, и люди, и нахалы — во два раза умудрялись. Истинный Бог! Своими глазами видела. Петровна перевела дух, устала. — Вот теперь будет Год, будем звать, кто несли, кто яму копали, крышку подносили…

«Пейте жилы, пока живы, помрёте — трясьца попьёте». Генка, пёс, приехал:

— Где мама?!

— Ты что так долго ехал?! На перекладинах что ли? Похоронили уже, — это я ему.

Ну, сел за стол. Выпили первоприездную, ко второй приступили. И взялся пить по северному. Я ему: «Генка! — говорю, чегой-то у меня шишка на ноге болит, зараза, нет сил терпеть, у большого пальца на левой? На похоронах доченьки соскользнула и по пальцу и мне!.. Крышка гробная. Хочешь, покажу?»

— Не надо, говорит, врачу покажи.

— Да я показывала, он мазь прописал, а от мази ещё хуже. Я и травы варила, и желчь прикладывала, разламывает ногу, хоть руби её.

— Взяла бы да отрубила.

— Ты ведь за мной ходить не станешь?

— А кто за меня в шахте колупаться будет? Не дури, — говорит, — валяй в москву. Пусть вылечивают А то как маманя, поляжешь на гробки, а я на похороны не успею. Знаешь, как у нас самолёты на севере летают? Хочет летит, хочет — нет. летают? Валяй в Москву поездом!

— Генка! — жалостно попросила на прощанье бабуля. — Не мокай редиську в солонку.

— Это почему ещё?

— Иуда в солонку макал.

— Ну! — взбесился Генка, — пожрать без религии не дадут!

— Не, Гена, ты, как безбожник, жри сколько хочешь, я не против. Кушай на здоровье, — на всякий случай перекрестилась. — Знаешь, я за Государству нашу… — помолчала, что-то соображая, — отделённую от церкви.

Снова помолчала, как отдохнула.

— Как теперь будет? Не знаю. Я хочу, чтоб и справку, и в церкви, и с полным отпеванием… Мне теперь в больницу. Вот и приехали. Здравствуйте.

# Как хлеб

Первый чемпионат мира по хоккею с шайбой с участием русских там, в Америке, был в полном разгаре. Казалось, что тут утонули все (а ей тогда восемьдесят два уже исполнилось или три…)… Наши рыцари играли великолепно. Всеобщий энтузиазм был неподдельным, а бабуля, казалось, лидировала: первая включала телевизор, оповещала соседей по даче, следила за расписанием трансляций, торопила с едой, созывала к экрану:

— Деточка, посмотри расписание на ночь, а то пропустим!.. Ну, этот, что в алтаре метается! Валтарь! Не люблю я эти… Бьются насмерть, падают, фулигайничают… Вчерась плохо играли — сонные были, а сегодня ничего — проснулись…

В острые моменты-столкновения почти рычала: «Метаются! Заразы!.. У-у, шаленые! Гляди-гляди, в овсах загулял! (действительно, комментатор объявляет: «Офсайд») Я б не елажила, а в тот хатей не стала б!.. На их же лица нет, скрозь побито. Живота нет, одни глаза торчат. Стоит, Гимну слушает — вот-вот падет»… Неожиданно вскрикивает: «Ну! Ну!.. Ведь в положении!!».

И действительно, в следующее мгновение комментатор объявляет:

— Положение вне игры! — и боковой судья с поднятой рукой у борта и приседает в коленках.

Или:

— Гляди-гляди, снова мордой об клюшку! Ну, разве так можно, деточки вы мои?! Ведь лицо, лицо же!.. Аба-юдно его, проходимца. Аба-юдно!

Через несколько секунд разбирательства звучит объявление: «Обоюдное удаление».

— Ну, заразы! Неугомон какой-то. — А там общая драка нерастащимая. — Ну, скотина нехорошая! Он уже и так весь в крови полощется. И что, нет на них, иродов, управы? Скажи? — это она мне. — Невиновного теперь ищи… Как один, безобраничают, — заключает бабуля, приговор всему мировому спортивному сообществу.

А когда все улеглось, угомонилось:

— Чего попросить тебя хотела… А? — ласково так. — Приспособь вот сюда икону. У тебе есть, я знаю, — Христом-Богом прошу! — Показала в угол над телевизором. Комнатка небольшая, не больно-то разгуляешься.

— Чего ж ты раньше не сказала, бабуленька. Ну конечно. Хоть сегодня…

— А я чего-й-то боялась… Ведь всеобщее безбожество. А если кто увидит?

Повесил. Закрепил не высоко, туда, куда просила. Серафима Саровского Преподобного, в замечательной глубокой золотой раме.

На третий день она сказала:

— Спасибо тебе, только замени его на кого-никого…

— Почему?

— Я с ним не знакомая… Если Исуса Христа нет, то хоть Николу Угодника. Мы с ним свои, знакомые, будто они на одной улице в деревне жили…

Николы у меня не нашлось. Зато была икона Спаса, такая, как ей и надо было — всех примирила. Доска старинная, сильно подожженная лампадой, но подреставрированная. Ее водворили вместо Серафима.

Бабуля была счастлива и, тихо сияя, проговорила:

— Спасибо тебе. А то сколько лет крещусь на яку-съ проститутку.

Уж не знал, что и сказать: в комнате действительно висела превосходная акварель Рудакова, иллюстрация к роману Мопассана «Милый друг» — танцовщица с фрачным пшютом-партнером в цилиндре, великолепная акварель. Мадам была пышная, роскошная, французская, весьма вероятно, что и проститутка.

— А её убрать? — спросил на всякий случай.

— Зачем?.. Пусть себе… Теперь и так хорошо.

Надо же — бабуля заболела, слегла и взялась помирать.

— Каса-а-атик! Видать, преставляться пора… Радикулит посмертный, ни вздохнуть, ни ахнуть, — её прижало всерьез, требовалась срочная помощь. Надежда Петровна добросовестно прощалась со всеми, готовилась отправиться в «Летучий Мирь» — так и говорила:

— Может, и примет меня Туда-Господь-Вседержитель Всесветный? — Перекрестилась, — прости и помилуй! Нету мне спасения. Нету.

А спасение, в общем-то было: остатки японской растирки, приобретенной другом в Канаде специально для меня (спрей!). Лекарство снимало сковывающие последствия контузии спины, когда все другие способы не помогали. Но остатки… Поборол даже приступ тупой лекарственной жадности, решился и сказал:

— Бабуленька, раздевайтесь. Вот по сих… — показал значительно ниже пояса.

— Это как же? — спросила Надежда Петровна.

— А вот так. До гола и без тесемок.

— Юрьеви-и-ич! — взмолилась. — Я же верующая…

— Вот и славно, снимай всё. Ляжете спиной вверх. Лечить буду. Если не поможет, тогда и помрем.

— Отвернись, — сказала строго.

Я вышел в коридорчик.

Тело у Надежды Петровне оказалось удивительно молодое, упругое и… красивое. Массировал ей спину от шеи и до самой поясницы, разминал глубоко, уговаривал терпеть. Она и терпела. Тёр до покраснения, аж пятнами пошла… Спрыснул весь остаток чудодейственного японо-канадского средства и снова растёр. Укрыл бабулю шерстяным платком, а сверху ещё и одеялами.

— Подремлете, бабуленька?

— Подремлю, подремлю, — вроде бы дышать она стала полегче.

— Если что, позовите, — и пошел мыть руки. Решил: поработаю пока на кухне, там чисто, тихо и никто не помешает.

… Время вырубилось — то ли полтора часа прошло, то ли два с половиной, Только услышал осторожное:

— Как там? Можно?

На пороге, прямая как свеча, стояла Надежда Петровна в белом платке, чистой кофте, длинной выходной юбке — помолодевшая, небольшая, сияя взглядом, смотрела на меня. Долго… Потом совершила полный поклон, дотянулась пальцами до пола, снова выпрямилась и торжественно громко выговорила:

— Профессор! Профессор! ПЕТР ПЕРВЫЙ! — Развела руки в стороны. — Понимаешь, ПЕТР ПЕРВЫЙ!.. — Ещё раз поклонилась в пояс и ушла. Выше званий она среди гражданских, по-видимому, не признавала.

Отходная на неопределенное время откладывалась.

— Спасения ищи, как хлеб в голодуху, — послышалось уже издали.

# На гробки

— Беляев-доктор: «езжай домой, бабка, говорит, живи!» А другие жалели: санитарок мало, так я за десятерьми в нашей палате ходила, как бродяга. Всё тя-я-желые!.. Таблетки давали, мазь вишневскую — она у них пудами идёт от всех болезней помогает. Так я ему, Беляеву, говорю: «Милый-вы-мой-драгоценный! Помочь нужна!». Тут растирку просить стала. «Что, — говорит, — тебе, бабка, семнадцать лет?». — Не. Не семнадцать. — «А вот сердце у тебя как у шестнадцатилетней девчонки». — Ей Богу! Так и сказал. Палец мой, который на ноге, на практике был. Рентген десять раз переделывали. «Что, — говорит, — тебе плохо?». Им тоже учиться надо. «Чего тебе, палец жалко?». Ладно, думаю, пусть изучают, деточки мои. Можа, пригодится другой раз такой палец лечить. А сама говорю: «Плохо мне тут. Дует. Давай у батареи!». Что, думаешь? Положил у батареи. Во — доктор Беляев!.. По тридцать-сорок человек смотрели мой палец — чёрные, белые, всякие практиканты. Ну, издевались! Все чисто смотрят, и даже кто другой потрогает. У других или отрежут или приставят на срастание, а мой так берегут — для учёбы. Ещё физкультурой занималась, как учили. Кувыркалась. Все дивились, ровно, в телевизоре. А доктор Беляев говорит: «У Надежды Петровны очень интересное зашибление». Уколы делали — больно. Атомные, что ли?.. Ничего лечат. Терпеть можно. Молодица там лежала здоровенная-незамужняя, а больная. Одна там была. Муж к другой пошёл. Так этой физкультурой я её прямо подняла и на ноги поставила. Только померла она. Царствие Небесное! — Заодно помянула и сыночка Николу, и доченьку Шуру…

Бабуся рада, что выжила, вырвалась оттуда, доехала-добрела.

Говорит, говорит и сама себя перебивает.

— Одного парня змея кусила. Распух. Привезли его и ту змею, что кусила. Привезли! Лечили, толщина на спад пошла. Полегчило, полегчило, совсем хорошо стало. Но тоже помер. А Генка в Донецке женился, девочка в Харькове училась. Петька-младший хотел жениться сам, купил водку, а жениться не стал: «Зачем всё с другими ходишь, говорит, если я на те жениться хочу?» А она ну никак. Он и не стал. А Генка говорит: «Не пропадать же водке» — и стал жениться сам. Не на этой вертихвостке, а на своей харьковской… Сам Иван ещё не женился. Говорят, ходит-приглядывается там к одной. Вдова!.. Так вот теперь Пётр Васильевич, пёс-перепёс-младшей-дочки-муж, остепенился малость — как не пьёт, а с утра ковырнёт бутылку

кихвира и бегом на работу. На двух протезах.

Он автобусом, около дома остановка, восьмой автобус или троллейбус двадцать шестой. Дом там, «Слава Советскому Союзу!» написано, овощи-картошку продают внизу по десять копеек, а на рынке рядом — тридцать! Да сорок! Вот идолы проклятые! У Тани-внучки нема-зна-чего. В положении вторая половина, и тут те на — пендицит разлился. Перировали. Внучкин муж Димка, он электрик и слесарь — две должности занимает! Полы моет сам, стирает, сам балалайку делает. Одну сделал — играет, за другую принялся — скоблит, Димка зовут!.. Меня уважает. Чего нажарит: «Бабу-у-ля! Идте кушать, то просты-ы-анет!.. А Толик-внук всё в армии.

Тут в воскресенье утром схватилась, захлопотала, собрала гостинцы и на Таганку к дочке-Вале поехала, возвратилась в понедельник утром мрачная, лицо подтянуло. Села завтракать, и не ест. Видно, хлебнула у доченьки полную чашу.

Оказалось, они всем семейством стали донимать матерь-тёщу-бабушку, что помирать её домой не возьмут, раз она не с ними живёт, и, мол, из армии Толик-внук вот-вот вернётся, сразу оженится, и нет у бабки комнаты! Бабуля им сдаваться не стала и сообщила: «Вот тут три дня болела, так меня и лечили, и ходили за мной, и питанию прямо в диван подавали».

А те в ответ, как из миски:

— Так это три дня, а ты похворай три месяца, тогда посмотрим, кто тебе «в диван подаст»!

— А Валя-дочка **даже,** прости Г**осподи, по-матер**ному на меня: «Детей не **помогла поставить?» Да** как же не помогла? Два года один на руке, другая за руку, и Петра ходила, две тысячи пятьсот рублей своих выплатила, чтоб его на ноги поставить, хоть у него и нет их — ног… А он, Пётр, жалеет, говорит: «Одна ты у меня мать, а все остальные — мать их…». За зло отместников много, а за добро — с фонарём не сыщешь, — горевала бабуля.

Тиранили бабку, тиранили, а Пётр-зять всё настаивал, что, мол, он-то её жалеет, но всё равно живёт она у чужих и по-настоящему помирать ей негде будет. Он, мол, её хоть и жалеет, а домой не пустит. Бабка всё насупротив говорила, да защищалась, как могла:

— А почему у чужих?! Потому как нет тут житья. Места нету. Лада нету.

— А как занеможешь? — настаивало дружное семейство.

— Так оне ж за мной ходить будут!

— Долго не будут.

— Так в больницу положат.

— А опосля больницы?

— А куда повезут, туда и поеду.

— А опосля?!

— А опосля на гробки, как и все. Да сперва вот сюды. Тут буду преставляться, где прописанная законно.

— Толик из действительной армии пришел, — сообщила как-то бабуся. — Гляди, жаниться не стал, пошёл работать. С наганом — деньги возит. Сутки возит — сутки спит. Злой сделался, страсть! Пожрет и спать. Валя ругает: «Зачем, — говорит, — тебе эта маята? Забьют ведь и деньги отымут. Что тогда будет?.. Ты женись — зачем тебе деньги возить?».

— Не твоё, — говорит, — дело, мать… Бабка, ты там общаешься, скажи, пусть достанут джинсы мериканские, размер 48, штоб жесткие и не гнулись. Достанешь — за ценой не постою, — и спать пошёл. А водки не пьёт. Уволят, говорит, сразу. И в партию кандидатскую записался.

Только не успела бабуля достать американские джинсы своему внуку-инкассатору. Снова заболела, слегла и тут уж всерьёз помирать принялась. — Не лепится мне, не лепится. Наверное, к погибели?

А вообще-то вся жизнь давалась бабусе тяжкой тяжестью и неусыпным трудом, и только в больнице она могла оглядеться по сторонам и перевести дух. А потому шла туда без надрыва.

В палату положили хорошую, на пять человек, хотя доктор Беляев был в отпуске. Только помогать и обихаживать остальных она уже не могла. Соседнюю койку занимала тоже старая женщина с лицом, отмеченным значительностью и покоем. Из актрис. Вдова. Александра Васильевна! Соседка знала, что доживает последний предел, и бабуле было удивительно, как спокойно она об этом говорила.

— Видать, есть к кому идтить, — с пониманием и завистью говорила бабуля. — Видать, кто стоющий ждёт тебя тама, — помянула сыночка Николу, доченьку Шуру, комиссара своего матроса шалопутного…

А тем временем с внуком Толиком судьба сыграла скверную историю. Недаром мать ему говорила: «Женись. Чего тебе чужие деньги возить?!» Отнять у него их не отняли, не такой вышел Толик парень, чтобы у него что свои, что государственные так просто отнять можно было. Не зря его на их охрану определили и не зря наган выдали.

К бабуле эту новость дочка-Валя уже в больницу принесла.

Сумерки были в городе Москве. Ездил Толик, как обычно, в таксомоторе по точкам, сидел в машине на заднем сидении и деньги в мешках сторожил. А его опытный напарник те деньги забирал, где положено, и приносил к Толику в машину… Дошёл

напарник в большой ресторан деньги большие забирать. («А чем больше деньги, тем больше напряг должен быть по инструкции!»). Тут какой-то парень и распахни без спросу дверцу, что возле водителя. Толик что надо прокричал: «Назад! Стрелять буду!». А тот словно ошалелый в машину прет и понять не может, куда лезет. «А у них работа тоже нервная, не весёлая. Касаторов тоже грабят среди бела дня. И убивают. Их так и обучают». — Толик из того нагана и бабахнул два раза, да в упор. В этого шустрого. А паря прямёхонько из того ресторана выкатился, да и был совсем не трезвый. Обе пули и схватил. Говорят, в больнице через час или два скончался. Не успел Толик раздобыть американские джинсы, размер 48, а вот человека угробил. Как пришёл домой, так вместе с отцом пить взялся и всё рассказывал. Паренёк-то одногодок был Толику. «Ему ничего не будет, — говорила дочка-Валя, — вроде бы всё по закону, а всё одно, насмерть».

Соседка Александра Васильевна заплакала, а у бабули слёз вдруг не стало, она молиться начала. И всё приговаривала:

— Прости его, Царица Небесная! А не можешь, так на меня его грех положь, а его, дурака, прости. С меня взыщи за смертный грех. Прости — и взыщи…

В палате до самой ночи было тихо-тихо и мрачно.

Проснулась Александра Васильевна на следующее утро позднее обычного, всю ночь бессонница мучила.

— Послушайте, Надежда Петровна, сон мне приснился. Удивительный. Сначала море, как из камня. Не настоящее, а изумрудное. И по этому морю каменному идут корабли. Белые. Один прекраснее другого — в кильватер, — и показала, что такое «в кильватер». — А на кораблях ни души. Пустые белые корабли. И на палубах пустота и чистота. Ни дымка из труб. Потом уже вижу, на флагмане мой первый муж стоит — Сергей Викентьевич. Далеко-далеко, весь в белой морской форме. Он далеко, а я его вижу, будто он рядом. Корабли плывут, не останавливаются.

Я спрашиваю:

— Серёжа, ты за мной пришёл? — Тихо спрашиваю, а он слышит.

Он отвечает:

— Нет, Саша. Не пришёл срок. Я приду за тобой. Ты подожди ещё немного.

— А почему твои белые корабли в каменном зелёном море?

— Не вникай, — отвечает. — Страшное дело затеяно, Саша, на земле. И живые вас не спасут. Может быть, мы спасем… С белыми кораблями. Отсюда.

Александра Васильевна шепотом, после всего, что совершилось, подробней рассказала… Как заветное.

После её рассказа о Белых Кораблях Надежда Петровна подождала немного, собралась с силами и сообщила, что после шести утра заснула хорошо и сон ей тоже приснился, только не сон, а вроде бы явь — то, что на самом деле в жизни было. И доподлинно. Дескать, тридцать лет тому или сорок, а то, поди, и пятьдесят — в общем, ей самой только перевалило за тридцать, работала она на шахте. Пришли шахтеры со смены. «А у меня их сорок душ, — мягко, подражая бабусе, пересказывала Александра Васильевна. — Я им как сестра, как мать. Бывало, с ног валятся, чёрные, в грязи, в пыли, а мылись в корыте». Значит, пришли они все радостные, ботинки ей новые принесли. Шумят. Схватили её и давай подкидывать. И всё кричат: «Надежда ты наша — Надёжа! Надежда ты наша Надея! И ну подкидывать…

Дальше продолжать Надежде Петровне что-то мешало.

— Да вы рассказывайте, — говорю я ей, — рассказывайте. Но только всё по правде, а то будет неинтересно.

Надежда Петровна снова собралась с духом, откинула смущение и продолжала:

— Целовать меня стали мои шахтерики. Цалуют.

— Как следует целуют или просто так? — это соседка с другой стороны спрашивает.

— Как следоваит.

— По-настоящему?

— По-настоящему…

И все женщины палаты увидели её стройной и сильной шахтерочкой, знающей толк в жизни и умеющей отличить во всем настоящее от ненастоящего. Я её просить стала:

— Ну, ещё, ещё расскажите. А она:

— И чего вспомнила? Наверное, к погибели. — И постепенно пошла, пошла: — Шахтерики мои шалопутные, говорит. Я тогда страсть как всего боялась, да и теперь не смелая, а на шахту пошла. Куда деться — трое детей на руках, а мой матрос с наганом уже давно в городе с другой живет, да и с третьей. А тут целая бригада на мне! Со смены забойной придут — горячей воды к приходу нагрей. Отмоются — накорми, прибери, постирай — все в одном бараке. Мне закуток хозяйственный выгородили — окно рядом, на двор. Витенька-бригадир очень к тому времени на меня глядеть стал. Это он меня тогда во сне по-настоящему… Цаловал. Вот покормила я их, прибрала со стола. Кто приоделся в чистую рубаху да пошел, кто намаялся — прилёг сил набираться. А я стирать стала. Стираю. Про жизнь свою думаю, про деток, про Иисуса Христа Назаретского, а сама всё стираю. Мне как раз Витечкина-бригадира рубашка попалась под руку. Где, думаю, он ее так загваздал, и, прости Господи, нечистую силу помянула. А

тут дверь настежь, а на пороге — сам! Нечистый Чёрт!! И кричит гвалту, визжит-корчится. Я как кинулась — прямо в окно. А за окном была верёвка натянута бельевая. Сама навесила. Об ту верёвку я лицом-то со всего маху, да ведь с подоконника! И, говорят, с криком, да без сознания и пала… Уж не помню, что там и как было… Хлопцы сбежались, люди из бараков, а рядом Стёпка стоит, бес-перебес, полушубок вывернут на голое тело напялил, рожу сажей — усы там, загогулины всякие намалеваны.

Степку, разумеется, бить взялись, да все вместе… Я еле вижу, глаза заплывают и рука порвана. Ну-у, думаю, каменющая твоя душа — сердце моё терпивое, — а сама прошу: «Не бейте его. Не бейте, Бога ради! Это он от дурости. Это я сама пугливая. Не бейте!..». Послушались. А бригадир тот Витенька: «Ладно, говорит, штоб духу твоего, Стёпка, в бригаде не было! Не то придушу в забое. Охламон!». Так и сказал: «Охламон!». А меня в госпиталь

…Как они все за меня убивались, жалели как. Шахтерики. Уж больно помню я того Стёпку в вывороченном. И Витеньку-бригадира, и остальных хлопчиков. Всё: «Надежда да Надёжа. Надежда да Надея». А Витеньку-бригадира завалило в забое насмерть. Уж потом.

Тяжело вздохнула, с трепетом:

— Счастья ищи, как хлеб в голодуху…

Весь остальной день Надежда Петровна лежала тихая, не жаловалась, не рассказывала. Только так, пошепчет разок-другой, как вспомянет: сыночка Николу… доченьку Шуру… да и Валю тоже… бригадира Витеньку… и того, что простреленный безвременно… Толика вспоминала грешно-безвинного… И всю ночь тихая была — не шелохнулась.

Утром Александра Васильевна глянула со своей койки, а Надежда Петровна уж и вытянулась вся. Душа отлетела. Аккуратная, прибранная, руки лежат как положено. И если посмотреть, так росту в ней всего-то ничего… Малюсенькая. А всё равно силы, да разума, да сердца, да проворства было у неё…

Только вот обещания своего не сдержала: померла не там, где прописана была по закону.

# Топ и Пти
# Сказка для маленьких и не маленьких

Эта странная история произошла в самом конце осени. Золото листьев уже полыхало так, что начало уходить в красноту, а значит — к ночным заморозкам. Топ и его сорокапятилетний хозяин отправились на охоту. Хозяин шел, переваливаясь с ноги на ногу, и тихо насвистывал. Пес, как и подобает настоящей охотничьей собаке с большим стажем, мотал очень длинными ушами и гонял то вперед, то вправо, то влево, настроенный весь без остатка даже пока еще не на охоту, а на одуряющие запахи. Время от времени он возвращался к охотнику, чтобы засвидетельствовать ему свою преданность и еще раз вдохнуть запах своего дорогого хозяина. По собачьему и человечьему летоисчислению, Топ и его хозяин были почти ровесники, Топ даже постарше.

Шуршал сухой камыш. Редкие деревья на берегу озера покачивались в легком тумане. Забежав далеко вперед, Топ сначала почуял и тут же обнаружил нечто вовсе непонятное.

В тихой заводи резвилось очень странное существо — вроде как птица. Топ отродясь такой не видел!.. Она казалась полупрозрачной, светлосиреневая с ярким цветным хохолком и забавно подпрыгивающей челкой. Она сама себе подпевала, прикрывала томно глаза, и при этом грациозно выписывала на воде и над водой самые невероятные загогулины и фигуры! То пританцовывала на современный манер (рок-шейк-брейк), то выделывала немыслимые акробатические трюки, разбрасывая во все стороны фонтаны брызг… И челка у нее подпрыгивала, подпрыгивала… Время от времени птица заглядывала в зеркало водной глади и оставалась вполне довольна собой. Она резвилась просто так — от молодости, от счастья, от полноты жизни. И от беззаботности.

Топ увидел ее из-за кустов… и замер. Пасть сама собой раскрылась и уже не закрывалась. Он растерялся. Раньше с ним никогда такого не происходило.

Но все-таки пес опомнился и бросился назад к хозяину. Очень хотелось как можно скорее поделиться своим открытием. Впопыхах ему удалось лишь тявкнуть: мол, там… — и указать направление.

Птица так увлеклась танцем, пением и собой, что ничего не

замечала вокруг. Хозяин приблизился, вскинул ружье и Ба-БАХ! — заряд срезал воду рядом с птицей, на мгновение она застыла в недоумении, но тут же забила крыльями, стремительно стала взмывать вверх, ей вдогонку раздался второй выстрел! Топ с досады чуть не перекусил себе лапу. Птица как-то неестественно дернулась на взлете, перевернулась, однако еще старалась лететь, старалась выровнять полет. Но не удержалась и стала падать.

Хозяин приказал:

— Искать! Живо!

Пес бросился исполнять. Уж это-то он умел по-настоящему.

Топ продирался сквозь заросли густой травы, высоко подпрыгивал, чтобы оглядеться и не потерять направления.

Чувствуя преследование, птица металась от одного укрытия к другому, но все они казались ей ненадежными. В них нельзя было спрятаться… А в панике трудно остаться незаметной… Топ настиг ее под круто обрывающимся бережком. Крик о помощи был слаб и тут же оборвался. Теряя последние силы, она опустилась на воду.

Топ с удивлением посмотрел на птицу вблизи, потом совсем близко. Привычным движением осторожно взял ее в зубы и поплыл обратно.

Он вышел на берег, положил птицу на траву, отряхнулся той великолепной вращательной дрожью, которая хоть кого взбодрит, и обдал птицу радужным потоком брызг. Она издала легкий стон. Топ хотел подхватить птицу, чтобы бежать дальше, но птица вдруг еле слышно попросила:

— Не могли бы вы… нести меня… не в зубах? — И глаза ее закатились.

— Не в зубах?.. — Топ искренне удивился.

— И не за шею… Ведь я ра-а-анена…

Топ смутился:

— Я бы мог, конечно, но мой хозяин…

— Он стрелял в меня.

Топу стало неловко:

— Но как же мне тогда нести вас?

— А вы не могли бы… вообще… меня… никуда… не нести? Мне… больно!

В это время издали донесся призывный свист хозяина. Топ бросился на зов, но тут же вернулся. В широко раскрытых глазах птицы была мольба о помощи! Топ даже не успел подумать: он поднял раненную птицу на своих мягких лапах и понес её к небольшой лунке, расположенной под укрытием куста возле разлапистой старой коряги. Ему трудно было нести её, а птице действительно было очень больно — пес не ожидал, что чужая боль может так сильно отзываться в нем, будто хозяин не в птицу,

а в него всадил этот проклятый заряд.

Он осторожно уложил птицу в лунку, и тут снова раздался резкий свист хозяина, как показалось, совсем близко. Топ мгновенно замаскировал лунку пучками сухой травы, отполз, проверил надежность маскировки и опрометью бросился на перехват хозяина. Уже слышался шум его шагов. Это была последняя возможность остановить охотника.

Топ юлил у него в ногах, припадал к земле, подпрыгивал, заглядывал ему в глаза, даже ненароком лизнул в щеку, словно извиниться за своеволие. Хотел сообщить хозяину, что он, де, не нашел подстреленной птицы, хоть очень старался…

— Где моя птица? — всё-таки спросил хозяин.

«Моя, моя…» — недовольно передразнил его Топ и стал осторожно заманивать хозяина в сторону — мол, «сюда, сюда»… Подвел его к воде и поплыл, увлекая за собой, благо было не глубоко. Охотник двинулся по воде за ним. Топ уже подал сигнал «внимание!», охотник начал вскидывать ружье, да в это время ухнул в воду по самое горло. Топ кинулся ему на помощь, помог выбраться на мелководье, потом на сухое место… Собаке-то что, отряхнулся как следует и в полном порядке, а вот хозяину пришлось фонтанами выдавливать воду из своего замечательного прорезиненного охотничьего костюма и выливать её, холодную, из высоких сапог. Тут уж было не до охоты, пришлось сразу разжечь костер, обогреваться и сушить одежду.

Смеркалось. Моросил дождь. Ветер тревожно шуршал в камышах. Птица лежала в своем укрытии. Она попыталась приподняться, огляделась по сторонам, и ей стало страшно: у нее было совсем мало сил. Сумерки сгущались, угрожали, во мгле появились две крохотные светящиеся, мигающие точки. Они стремительно приближались, росли, и вокруг них вилось какое-то вихревое пламя!.. Птица замерла, зажмурилась, приготовилась к худшему… Когда она чуть приоткрыла глаза, то увидела, что перед ней стоит запыхавшийся пес, а в зубах у него старенький яркий шарф.

— Ой-о-й… — пролепетала птица с облегчением. Шарфом своего хозяина Топ ловко перевязал раненое крыло и укутал птицу. Ей сразу стало теплее, и челка над глазами немного приподнялась.

— Теперь я буду вас лечить! — **радостно заявил** Топ.

— Да, — тихо согласилась она. — Спасибо Но, может быть, нам следует познакомиться? Меня Пти… для близких друзей. А полностью — Перептица.

— А я просто Топ, — он кивнул, как бы извинился. — Вот так… Но мне надо побыстрей туда, — неожиданно сказал он и

бросился в темноту.

Птица еще долго прислушивалась к шорохам и шуму ветра. Топ мчался во весь дух, он знал дорогу наизусть и мог бы добежать с закрытыми глазами… но с совестью у него было не все в порядке: «С одной с**торо**ны… С другой стороны…». Ведь собака повсюду **счита**ется «Другом Человека», а не птицы?.. Вот в чем **загвоз**дка. Хотя и птица…

На рассвете Топ снова примчался к гнезду и **поло**жил перед птицей кусок белой булки.

— Вот и я! — радостно сказал он, просто чтобы не молчать.

Пти была все ещё очень слаба, но порадовалась **его** появлению.

— Да-а, — тихо произнесла она и из вежливости один раз клюнула булку.

Топ помялся на месте, словно хотел ещё что-то сказать, но вместо слов легонько подтолкнул булку поближе к птице. Она клюнула еще раз, но больше не смогла — не было сил.

— Видите ли, — осторожно сказал Топ, — мы, извините, обычно зализываем свои раны. И… заживает, как на собаке! — Он усмехнулся своей шутке, но птице было совсем не до смеха.

— Я… не смогу, — тихо сказала она.

— Что вы?! — испугался Топ. — Это я бы мог сам, если… В слюне собаки есть фэррр-мэнт… Самое-самое средство. От всего! Известный факт.

Птица еле заметно качнула головой — мол, «Нет-нет, что вы…», — но силы покидали ее, здесь было не до церемоний, ей действительно требовалась срочная помощь. А здесь больше никто не мог ей помочь.

Первый луч солнца осветил макушку сухого камыша. Птица приоткрыла глаза, глубоко вздохнула, ее челка вздрогнула. Ей стало легче.

— Вы побудете здесь еще немного? — спросила она.

— Не могу… Знаете, мне опять пора туда, — почти заикаясь, сказал Топ.

— Жаль, — пролепетала Пти. — Очень жаль. Пес потоптался на месте и нехотя, тяжеловато побежал туда, где были его дом и его хозяин.

Каждую свободную минутку, да и часок, которые ему удавалось урвать, Топ теперь убегал к озеру. Он видел — птице раз от раза становилось все лучше.

И вот однажды он опять также примчался к озеру. В зубах он нес распатланный букет последних осенних полевых цветов, которые живут до самых морозов. Пес остановился возле большой коряги, прислушался и бросил сразу все цветы через куст в её

гнездо… Но никакого ответа, ну хотя бы писка не последовало. Тогда он заглянул в укрытие. Там было пусто. Он позвал: «А-а-у-у-у!». Ответа не было. Вот тут у него внутри похолодело. Он стал торопливо нюхать следы, озираться по сторонам: берег, вода, камыши, даже небо — всё находилось на своем месте. И никакой птицы.

— Пти!.. Пти-и-и! — крикнул он и залаял.

В ответ молчание.

В голове у Топа замелькали видения: лиса или хорек — ух, как они умеют расправиться с беззащитной птицей. Или другой, совсем неизвестный охотник, а она такая неосторожная, или собака, может быть, даже совсем не охотничья, или, наконец, какая-нибудь птица, большая, черная подхватила ее и унесла. От отчаяния вся морда пса, вместе с ушами, сложилась в длинную трубу. Он завыл на всю округу.

Порыв ветра резко наклонил камыш, и тут Топ увидел Пти. Она была совсем рядом, на мысочке возле воды. Только в крайнем волнении ему могло отказать привычное чутье. Пес одним прыжком оказался возле нее:

— Почему вы не откликнулись?

— Так, — сказала она то ли загадочно, то ли безразлично.

— Я испугался! Знаете…

— Да ну-у?.. — Она даже не повернула головы, даже не тряхнула челкой, она глядела в серебристую даль озера.

Топ присел рядом и тоже стал смотреть в даль…

В небе послышался странный звук, он рос, заполнял собой всё пространство. Звучал влекуще и настораживал. Летела длинная цепочка больших белых птиц. Довольно высоко. Полетный гомон стал удаляться, стихать… Пти тоже раскинула крылья, замахала ими, захлопала, даже два раза смазала Топу по носу. Её крылья оказались большими, прозрачными и очень красивыми… Даже сильными! (Раньше Топ этого не замечал.) Она словно пробовала взлететь. Неожиданно Пти спросила с вызовом:

— А вы любите летать?

— Да-а. Очень. А что, разве?.. — неуверенно отозвался он.

— Завтра. Или послезавтра, — ответила Пти, как ни в чем не бывало.

— Нет, — сказал пёс. — Я не могу так сразу. Я не готов.

— А вам и не обязательно, — сказала птица.

— Но я… У-У-Уу-у-у-у! — поняв всё, завыл Топ.

— Зачем так громко? — спросила Пти. — По-моему, об этом не кричат… Когда перед тем ещё и убивают, — добавила она довольно мстительно.

— Но тогда я ещё не знал! — протестовал Топ.

— Это чувствуют заранее! — Ее голос становился всё звонче и увереннее.

— Ну, тут еще как сказать!.. — внезапно грозно выкрикнул Топ. Он не договорил, дыхание перехватило и он поперхнулся.

Пти только хмыкнула:

— Вы совсем забыли, что больше всего на свете птица любит летать.

— Но я…

— Зачем эти «Но»?.. Я бы даже считала себя обязанной вам, если бы вы не были сообщником. В убийстве.

Птица больше ничего не сказала, направилась к своему гнезду.

Пес двинулся за ней, озабоченно поглядывая на небо, туда, где только что пролетели большие белые птицы.

Пти забралась в свое гнездо и даже не заметила брошенные ей цветы. Или это только так показалось собаке.

— Так… Знак внимания… — неуклюже подсказал Топ. Она словно и не слышала. Стала укладываться, недовольно бурчала, будто разговаривала сама с собой. Что-то ей мешало… Вытащила из-под себя самый большой и самый красивый цветок с обломанным стеблем и швырнула его вверх. Большой цветок упал прямо на голову Топа.

Он пробовал незаметно стряхнуть его на землю, но цветок запутался в шерсти и не падал. Будто прилип.

Усталый мрачный вошел Топ в охотничий домик и рухнул на свою подстилку. Положил морду не на лапы, а прямо на пол. Он распластался, глаза стали закатываться… Топ всегда старался заснуть, когда у него были неприятности. И он заснул…

Сон был продолжением того, что было в действительности. Только немного понятнее, проще. Он снова увидел Пти. Она опять танцевала свой фантастический танец. Но уже не на воде, а в воздухе. Над самой водой.

— Пришел? — как бы невзначай, спросила она, не прекращая танца.

— Я пережива-а-ал… — признался пёс.

— А я думала, вы умеете переживать только за своего хозяина, — она опустилась на воду.

— Не совсем так, — насторожился Топ.

— Так, так, — настаивала птица. — Вы без него часа не можете прожить. Минуты!

— Это замечательный человек! Знаете, какой он…

— Знаю. Убийца!

Пес зарычал от негодования:

— Да он член знаете чего… Как его?.. Охотничьего Общества!

У него, этот… Как его?.. Охотничий билет!.. У него… ну, этот… как его?.. Отпуск!

Тут Пти не выдержала:

— Лопух в коже и резине, твой хозяин! Пусть бы он меня убил. Убил бы и всё! Но он даже стрелять как следует не умеет! «Охотничий билет!..»

Топ вздрагивал, как будто его било током. Он не мог вставить ни словечка, так она распалилась.

— Можете линять к нему! Вместе с этими дурацкими цветами, — из укрытия полетели знаки его внимания, она их выбрасывала. — Сначала стреляют! Волокут! За горло!.. А потом заваливают цветами! Как могилу!.. Видеть вас всех не желаю. Несите всю эту муть ему!..

И она сделала то, чего Топ больше всего боялся: она взмахнула неправдоподобно большими прозрачными крыльями и великолепно взлетела… Он даже не предполагал, что она такая прекрасная… Пти то удалялась, то кружила совсем близко, почти касалась его ушей, носа — шарф описывал вслед за ней огромную дугу… Потом она на мгновение застывала в воздухе и начинала стремительно набирать высоту. Потом ныряла головой вниз…

Топ метался вдоль берега, останавливался, он совсем не знал, что делать. Казалось ему, что птица больше никогда не вернется оттуда… Но она возвращалась и чуть не цепляла краем крыла кончик его носа.

— Я улетаю. Улетаю совсем… — щебетала она и взмывала ввысь.

— Не-е-ет! — зарычал Топ, свернулся в тугую, словно стальную, пружину и как бы выстрелил самим собой туда, куда она улетала.

Он выпрыгнул так высоко, как летают птицы. Ему удалось невозможное — он преодолел земное притяжение, распластался и уже парил в воздухе, набирая скорость… Он мчался… он догонял птицу, и встречный ветер свистел в его ушах, которые заменяли ему крылья… Догнал… Парил, плыл по воздуху, поглядывал снисходительно на летящую рядом Пти.

Но в этот миг с земли, как два выстрела, грянули два хозяйских окрика:

— Топ! Ко мне!

Пёс сразу повалился набок, перевернулся через голову и начал падать. Он сопротивлялся, вывертывался всем телом, но всё равно падал, падал и… Упал! Он был раздавлен, стал совсем плоским, как будто по нему проехал тяжелый трамбовочный каток…

А голос хозяина всё звал:

— Вставай! Вставай, бездельник!

Конечно, Топ тут же встал, или, вернее, сел. Сильный озноб колотил его. Хозяин что-то напевал, у него было отличное настроение. Он снял со стены ружье, патронташ, подхватил охотничью сумку, призывно свистнул и направился к двери. Топ не тронулся с места, крепче прежнего уперся передними лапами в пол. Хозяину пришлось вернуться, он пристегнул к ошейнику тренчик поводка. Топ не двигался.

— Что с тобой? А, Топ? — спросил хозяин, дивясь поведению собаки. — Стонешь во сне. Вздрагиваешь. Вон лапа дергается…

«Это характерные признаки моей породы. Пора бы знать», — хотел ответить хозяину Топ, но передумал.

— Идем на охоту. Вперед! Марш!

Пес пятился. Хозяин потянул за поводок, и ему пришлось проехаться по полу до самого порога. Тут он, как говорится, подчинился грубой силе и через порог уже переступил самостоятельно.

Были первые заморозки. Вчерашние лужи затянуло прозрачной ледяной коркой. Из своего укрытия Пти видела, как в ее сторону, к гнезду, двигались охотник и собака, чем-то похожая на Топа.

Только пес был совсем понурый, разом постаревший. Прежней резвости и в помине не было…

Расстояние между корягой и охотником сокращалось, и Топ уже не знал, что предпринять, как увести хозяина хоть чуть в сторону. Они были уже совсем близко от укрытия, когда Топ в отчаянии рванулся, прыгнул и преградил охотнику путь — поза была угрожающая, глаза горели, всем своим существом он показывал, что не даст ему больше сделать и полшага.

— Это что такое?! — осерчал хозяин.

Но Топу было не до объяснений. Он завыл на всю округу — в его голосе была только просьба!.. Но хозяин его не понял, он замахнулся… Зато птица сразу все поняла и забила крыльями в своем укрытии. Охотник услышал шум, взвел оба курка и поднял стволы. Тут птица одним движением подбросила вверх свернутый шарф — грянул выстрел! — шарф развернулся и весь, изрешеченный пробоинами, повис на кусте. А птица забила крыльями и винтом, стремительно пошла вверх. Топ обернулся — пальцы хозяина лежали на спусковых крючках, ствол дымился, хозяин снова вскинул ружьё. Но Топ опередил его: в прыжке он повис на хозяйской руке, крепко держался передними лапами за ружье, перехватывал, извивался, бил задними… Раздался второй выстрел!.. Топ скосил глаза и увидел, как в небе, зигзагами, исчезает за линией горизонта его птица… Он еще повисел

немного и упал на землю.

Было тихо и безветренно. Падал первый снег. Оставляя за собой следы, уходил домой охотник, а у коряги, вблизи от того куста, сидел Топ. Снег ложился на его спину, на голову, подтаивал, и крупные капли с кончиков ушей падали на землю.

# Карнавал Теодора Вульфовича

Эта книга может показаться несколько беспорядочной, бессвязной, что ли. И то сказать, сборник включает произведения разных лет, весьма различные по жанру, тематике и объему, да и труд составителя автором не завершен. Болезнь смяла все планы, заканчивать компоновку книги Теодора Юрьевича пришлось его жене и друзьям…

Но, как бы там ни было, в книге — его живой голос. Он-то, пожалуй, и создает неповторимое обаяние прозы Вульфовича, талантливого, зоркого и остроумного человека, прожившего долгую бурную жизнь в сложнейшую и по драматизму и глупости эпоху. Сами по себе эти воспоминания дорогого стоят. Вульфович, рассказчик милостью Божией, пишет, как говорит — ничего подобного этой страстной, насмешливой, гибкой и стремительной разговорной интонации в русской прозе нет и не было.

И, пожалуй, главное! Все это написано человеком, превыше всего на свете ставившим одухотворенную волю. Ее он распознает, ею любуется, перед ней благоговеет во всех обличьях — в народном артисте и старухе-домработнице, в известном писателе и спьяну разболтавшемся рыбаке, в нищем ремесленнике-виртуозе и знаменитом кинорежиссере. Даже Матвей Берман, страшный и обреченный, с изуродованной душой, несет в себе эту гаснущую искру, за что и замечен автором. Сам же автор — художник, его собственная воля неудержимо направлена на творчество, снимает ли он кино или пишет книги, гнобят ли его цензоры всех мастей или уже нет. Даже в реанимационной палате, на грани почти неминуемой гибели, ему является — сказка. Почему? Никогда не снимал их и не сочинял, в мыслях не имел, а тут возникла, готовая, оставалось выжить и записать. Как только смог удержать в пальцах карандаш, потребовал тетрадку и записал-таки. Выкарабкался! Так некогда возникла «Топ и Пти», странная и печальная фантазия.

Впрочем, и там, где Вульфович рассказывает о событиях действительных, персонажах реальных, в атмосфере его повествования присутствует нечто неуловимо диковинное, ощущение бытия как тайны. Напряженно внимательный к ее едва уловимым знакам, писатель подчас глухо, как бы рассеянно проговаривается, в такие моменты его словоупотребление хоть кого озадачит. Он хотел посвятить памяти старшего собрата и друга книгу «Карнавал Домбровского», отзвук этого недовершенного замысла слышен в загадочной фразе о «карнавале постоянного и упорного разговора со смертью». Тут

бы самое время редактору насесть на писателя, потребовать уточнений, что, черт возьми, он имел в виду. Но поздно, теперь придется обойтись без прямой подсказки. Зато подсказок косвенных в книге сколько угодно. Разве не складываются ее столь разнородные эпизоды в картину пестрого, головокружительного, жутковато-смешного действа? В его гуще и впрямь танцует, играет, мелькая под разными масками, хихикает смерть. Не уверена, что так у Домбровского, но у самого автора с этой плясуньей и точно амбивалентные, по Бахтину, карнавальные отношения. Недаром Теодор Юрьевич, до глубокой старости сохранивший этакую мушкетерскую стать, говаривал в кругу друзей, и глаза задорно сверкали:

— О чем хнычут на похоронах? Что за ерунда? Уверен: когда-нибудь смерть порядочного человека будут праздновать, как победу, как с блеском сданный экзамен! Переход в высшее состояние! Люди до этого дорастут, только мне не дожить…

Так-то оно так, но когда друг, дороже и важнее которого не было, лежит бездыханный «поперек коридора» («Разговоры с Домбровским»), трудно, оказывается, торжествовать. Пропасть разверзается, «проран в мироздании». А карнавал продолжается, хотя каждому из его участников рано или поздно придется сбросить свои бренные личины. Есть ли в нас, кроме них, нечто, уничтожению не подвластное? Вульфович верит, что да.

***Ирина Васюченко***